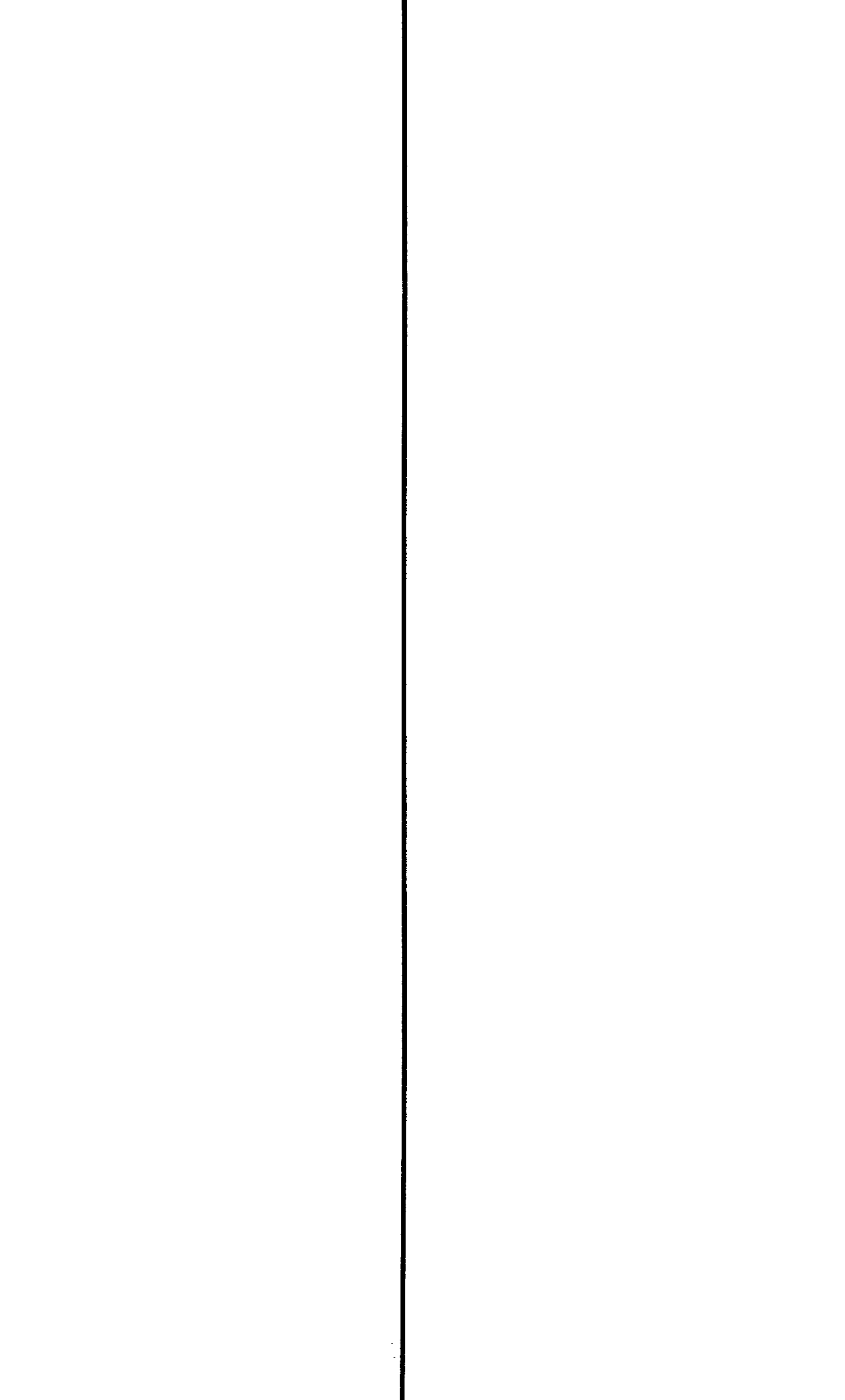
Юрий МАМЛЕЕВ

ШАТУНЫ





Youri MAMLEEV **SHATUNY**

a novel



C.A.S.E./THIRD WAVE
Publishing House
Paris — New York
1988

Юрий МАМЛЕЕВ *ШАТУНЫ*

роман



Издательство
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
Париж — Нью-Йорк
1988

Редактор Александр Глезер
Художник Виталий Длуги

ISBN: 0-937951-12-2
Library of Congress Catalog No. 87-34259

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

I

Весной 196… года вечерняя электричка разрезала тьму подмосковных городков и лесов. Мерно несла свои звуки все дальше и дальше… В вагонах было светло и почти пусто. Люди сидели неподвижно, как завороженные, словно они отключились от всех своих дел и точно такой же жизни. И не знали, куда их несет этот поезд.

В среднем вагоне находилось всего семь человек. Потрепанная старушка уставилась в свой мешок с картошкой, чуть не падая в него лицом. Здоровый детина все время жевал лук, испуганно-прибауточно глядя перед собой в пустоту. Толстая женщина завернулась в клубок, так что не было даже видно ее лица.

А в углу сидел он — Федор Соннов.

Это был грузный мужчина около сорока лет, со странным, уходящим внутрь, тупо-сосредоточенным лицом. Выражение этого огромного, в извилинах и морщинах лица было зверско-отчужденное, погруженное в себя, и тоже направленное на мир. Но направленное только в том смысле, что мира для обладателя этого лица словно не существовало.

Одет Федор был просто, и серый, чуть рваный пиджак прикрывал большой живот, которым он как-то сосредоточенно двигал в себя, и иногда похлопывал его так, как будто живот был его вторым лицом — без глаз, без рта, но может быть еще более реальным.

Дышал Федор так, что выдыхая, как будто бы все равно вдыхал воздух в себя. Часто Соннов, осоловевшими от своего громоздкого существования глазами, всматривался в сидящих людей.

Он точно прикалывал их к своему взгляду, хотя само его внутреннее существо проходило сквозь них, как сквозь сгущенную пустоту.

Наконец, поезд замедлил ход. Человечки, вдруг виляя задницами, потянулись к выходу. Федор встал с таким ощущением, что поднимается слон.

Станция оказалась маленькой, уютно-потерянной, с настойчивыми, покосившимися, деревянными домиками. Как только человечки выскочили на перрон, дурь с них сошла, и они очень странно оживившись, забегали — вперед, вперед!

Старушка мешочница почему-то отнесла свой мешок к темному забору и, наклонившись, нагадила в него.

Здоровый детина не бежал, а прямо скакал вперед, огромными прыжками, ладно размахивая лапами. Видимо, начиналась жизнь.

Но Федор оставался неизменным. Он брел, ворочая головой, осматривая окружающее, как будто он только что упал с луны.

На центральной площади два облезлых, как псы, автобуса, стояли на одном месте. Один был почти пустой. Другой же — так набит людьми, что из него доносилось даже сладострастное шипение. Но Соннов не обращал внимания на всю эту мишуру.

Проходя мимо столба, он вдруг ударил одиноко бродившего рядом пацана прямо в челюсть. Хотя удар был сильный и парень свалился в канаву, сделано это было с таким внутренним безразличием, точно Соннов ткнул пустоту. Лишь физическая судорога прошла по его грузному телу. Такой же оцепенелый он шел дальше, поглядывая на столбы.

Парень долго не мог очнуться от этого странного выражения с каким ему был нанесен удар, а когда очнулся, Соннов был уже далеко...

Федор брел по узкой, замороченной нелепо-безобразными домами улице. Вдруг он остановился и присел в траву. Поднял рубаху и стал неторопливо, со смыслом и многозначительно, словно в его руке сосредоточилось сознание, похлопывать себя по животу. Смотрел на верхушки деревьев, щерился на звезды... И вдруг запел.

Пел он надрывно-животно, выхаркивая слова промеж гнилых зубов. Песня была бессмысленно-уголовная. Наконец, Федор, подтянув штаны, встал, и, похлопав себя по заднице, как бы пошел вперед, точно в мозгу его родилась мысль.

Идти было видимо-невидимо. Наконец, свернул он в глухой лес. Деревья уже давно здесь росли без прежней стихии, одухотворенные: не то что они были обгажены блевотиной или бумагой, а просто изнутри светились мутным человеческим разложением и скорбию. Не травы уже это были, а обрезанные человеческие души.

Федор пошел стороной, не по тропке. И вдруг через час навстречу ему издалека показался темный человеческий силуэт. Потом он превратился в угловатую фигуру парня лет двадцати шести. Соннов сначала не реагировал на него, но потом вдруг проявил какую-то резкую, мертвую заинтересованность.

— Нет ли закурить? — угрюмо спросил он у парня.

Тот, с веселой оживленной мордочкой, пошарил в карманах, как в собственном члене.

И в этот момент Федор, судорожно крякнув, как будто опрокидывая в себя стакан водки, всадил в живот парня огромный кухонный нож. Таким ножом обычно убивают крупное кровяное животное.

Прижав парня к дереву, Федор пошуровал у него в животе ножом, как будто хотел найти и убить там еще что-то живое, но неизвестное. Потом спокойно положил убиенного на Божию травку и оттащил чуть в сторону, к полянке.

В это время высоко в черном небе обнажилась луна. Мертвенно-золотой свет облил поляну, шевелящиеся травы и пни.

Федор, лицо которого приняло благостное выражение, присел на пенек, снял шапку перед покойным и полез ему в карман, чтобы найти пачпорт. Деньги не тронул, а в пачпорт посмотрел, чтобы узнать имя.

— Приезжий, издалека, Григорий, — умилился Соннов. — Небось домой ехал.

Движения его были уверенные, покойные, чуть ласковые; видимо он совершал хорошо ему знакомое дело.

Вынул из кармана сверток с бутербродами и, разложив их на газетке, у головы покойного, с аппетитом, не спеша стал ужинать. Ел сочно, не гнушаясь крошками. Наконец, покойно собрал остатки еды в узелок.

— Ну вот, Гриша, — обтирая рот, промолвил Соннов, — теперь и поговорить можно... А!? — и он ласково потрепал Григория по мертвой щеке.

Потом крякнул и расселся поудобней, закурив.

— Расскажу-ка я тебе, Григорий, о своем житьи-бытьи, — продолжал Соннов, на лице которого погруженность в себя вдруг

сменилась чуть самодовольным доброжелательством. — Но сначала о детстве, о том, кто я такой и откудава я взялся. То есть о радетелях. Папаня мой всю поднаготную о себе мне рассказал, так что я ее тебе переговорю. Отец мой был простой человек, юрковатый, но по сердцу суровай. Без топора на людях минуты не проводил. Так то... И если б окружало его столько же мякоти, сколько супротивления... О бабах он печалился, не с бревнами же весь век проводить. И все не мог найти. И наконец нашел тую, которая пришлась ему по вкусу, а мне матерью... Долго он ее испытывал. Но самоё последнее испытание папаня любил вспоминать. Было, значит, Григорий, у отца деньжат тьма-тьмущая. И поехал он раз с матерью моей, с Ириной значит, в глухой лес, в одинокую избу. А сам дал ей понять, что у него там деньжищ припрятяны, и никто об этом не знает. То-то... И так обставил, что матерь решила: про поездку эту никто не знает, а все думают, что папаня уехал один на работы, на целый год... Все так подвел, чтоб мамашу в безукоризненный соблазн ввести, и если б она задумала его убить, чтоб деньги присвоить, то она могла б это безопасно для себя обставить. Понял, Григорий? — Соннов чуть замешкался. Трудно было подумать раньше, что он может быть так разговорчив.

Он продолжал:

— Ну вот сидит папаня вечерком в глухой избушке с матерью моей, с Ириной. И прикидывается эдаким простачком. И видит: Ирина волнуется, а скрыть хочет. Но грудь белая так ходуном и ходит. Настала ночь. Папаня прилег на отдельную кровать и прикинулся спящим. Храпит. А сам все чует. Тьма настала. Вдруг слышит: тихонько, тихонько встает матерь, дыханье еле дрожит. Встает и идет в угол — к топору. А топор у папани был ограмадный — медведя пополам расколоть можно. Взяла Ирина топор в руки, подняла и еле слышно идётъ к отцовской кровати. Совсем близко подошла. Только замахнулась, папаня ей рраз — ногой в живот. Вскочил и подмял под себя. Тут же ее и поимел. От этого зачатия я и родился... А отец Ирину из-за этого случая очень полюбил. Сразу же на следующий день — под венец, в церкву... Век не разлучался. «Понимающая, — говорил про нее. — Не рохля. Если б она на меня с топором не пошла — никогда бы не женился на ей. А так сразу увидал — баба крепкая... Без слезы». И с этими словами он обычно похлопывал ее по заднице. А матерь не смущалась: только скалила сердитую морду, а отца уважала... Вот от такого зачатия с почти убийством я и произошел... Ну,

что молчишь, Григорий, — вдруг тень пробежала по лицу Федора. — Иль не ладно рассказываю, дурак!?

Видно непривычное многословие ввергло Федора в некоторую истерику. Не любил он говорить.

Наконец, Соннов встал. Подтянул штаны. Наклонился к мертвому лицу.

— Ну где ты, Григорий, где ты? — вдруг запричитал он. Его зверское лицо чуть обабилось. Где ты? Ответь!? Куда спрятался, сукин кот?! Под пень, под пень спрятался?! Думаешь, сдох, так от меня схоронился?! А!? Знаю, знаю, где ты!! Не уйдешь!! Под пень спрятался!

И Соннов вдруг подошел к близстоящему пню и в ярости стал пинать его ногой. Пень был гнилой и стал мелко крошиться под его ударами.

— Куда спрятался, сукин кот?! — завопил Федор. Вдруг остановился. — Где ты, Григорий?! Где ты?! С тобою ли говорю?! А может ты ухмыляесси? Отвечай!?

«Отвечай... ай!» — отозвалось эхо. Луна вдруг скрылась. Тьма охватила лес и деревья слились с темнотой.

Соннов глухо урча, ломая невидимые ветви, скрылся в лесу...

Поутру, когда поднялось солнце, поляна словно изнутри пронзилась теплом и жизнью: засветились деревья и травы, булькала вода глубоко в земле...

Под деревом, как сгнившее, выброшенное бревно, лежал труп. Никто не видел и не тревожил его. Вдруг из-за кустов показался человек; похрюкивая, он равнодушно оглядывался по сторонам. Это был Федор. Тот же потертый пиджак висел на нем помятым мешком.

Он не смог уйти куда-нибудь далеко, и заночевал в лесу, у поваленного дерева, в какой-то тупой уверенностью, что все обойдется для него благополучно.

Теперь он, видимо, решил проститься с Григорием.

На лице его не было и следа прежней ночной истерики: оно было втянуто во внутрь себя и на внешний мир смотрело ошалело-недоумевающе. Наконец, Федор нашел, как обычно находят грибы, труп Григория.

Свойски присел рядом.

Его идиотская привычка жевать около умершего сказывалась и сейчас. Федор развернул сверток и позавтракал.

— Ну, Григорий, не ты первый, не ты последний, — вдруг неожиданно пробормотал он после долгого и безразличного молча-

ния. И уставился не столько на лоб покойного, сколько на пустое пространство вокруг него.

— Не договорил я многого, — вдруг сказал Соннов. — Темно стало. Сейчас скажу, — было непонятно к кому он теперь обращался: на труп Федор уже совсем не глядел. — Ребятишек нас у матери было двое: я и сестра Клавдия. Но мать моя меня пужалась из-за моей глупости. В кровь я ее бил, втихаря, из-за того, что не знал, кто я есть и откудава я появился. Она на живот указывает, а я ей говорю: «не то отвечаешь, стерва... Не про то спрашиваю...». Долго ли мало ли, уж молодым парнем поступил я на спасательную станцию. Парень я был тогда кудрявый. Но молчаливый. Меня боялись, но знали: всегда — смолчу. Ребята — спасатели — были простые, веселые... И дело у них шло большое, широкое. Они людей топили. Нырнут и из воды утопят. Дело свое знали ловко, без задоринки. Когда родные спохватывались — ребята будто б искали утопших и труп вытаскивали. Премия им за это полагалась. Деньжата пропивали, или на баб тратили; кое-кто портки покупал... Из уважения они и меня в свою компанию приняли. Топил я ловко, просто, без размышления. Долю свою папане отсылал, в дом... И привычка меня потом взяла: хоронить, кого я топил. И родные ихние меня чествовали; думали переживающий такой спасатель; а я от угощения не отказывался. Тем более водки... Любил выпить... Но потом вот что меня заедать стало: гляжу на покойника и думаю: куда ж человек то делся, а?.. Куда ж человек то делся?! И стало казаться мне, что он в пустоте вокруг покойника витает... А иногда просто ничего не казалось... Но смотреть я стал на покойников этих всегда, словно в пустоту хотел доглядеться... Однажды утопил я мальчика, цыпленка такого; он так уверенно, без боязни, пошел на дно... А в этот же день во сне мне явился: язык кажет и хохочет. Дескать, ты меня, дурак, сивый мерин, утопил, а мне на том свете еще слаще... И таперя ты меня не достанешь... В поту я вскочил, как холерный. Чуть утро было, в деревне, и я в лес ушел. Что ж думаю, я не сурьезным делом занимаюсь, одними шуточками. Словно, козла забиваю. Они то — на тот свет — прыг и как ни в чем не бывало... А я думаю: «Убил»... А может только сон это!? ...Попалась мне по дороге девчонка... Удушиил ее со зла, и думаю: так приятнее, так приятнее, на глазах видать как человек в пустоту уходит... Чудом мне повезло: не раскрыли убийство. Потом стал осторожней... От спасателей ушел, наглядно хотел убивать. И так меня все тянуло, тянуло, словно с каждым убийством загадку я разгадываю: кого убиваю, кого?.. Что

видать, что не видать?! ...Может я сказку убиваю, а суть ускользает??! ...Ну вот и стал я бродить по свету. Да так и не знаю, что делаю, до кого дотрагиваюсь, с кем говорю... Совсем отупел... Григорий, Григорий... Ау? ...Ты это?? — успокоенно-благодушно, вдруг сникнув, пробормотал в пустоту.

Наконец, встал. С его лица не сходило выражение какого-то странного довольства.

Механически, но как-то опытно, со знанием, прибирал все следы. И пошел вглубь...

Узкая, извилистая тропинка вывела его в конце концов из леса. Вдали виднелась маленькая, уединенная станция.

Зашел в кусты — пошалить. «Что говорить о Григории, — думал он спустя, — когда я сам не знаю — есть ли я».

И поднял морду вверх, сквозь кусты, к виднеющимся просторам. Мыслей то не было, то они скакали супротив существования природы.

В теплоте добрел до станции. И присел у буфетного столика, с пивом.

Ощущение пива казалось ему теперь единственной реальностью, существующей на земле. Он погрузил в это ощущение свои мысли и они исчезли. В духе он целовал внутренности своего живота и застывал.

Издалека подходил поезд. Федор вдруг оживился: «в гнездо надо, в гнездо!».

И грузно юркнул в открывшуюся дверь электрички.

II

Местечко Лебединое, под Москвой, куда в полдень добрался Федор, было уединенно даже в своей деятельности.

Эта деятельность носила характер «в себя». Работы, которые велись в этом уголке, были настолько внутренне опустошенны, как будто они были продолжением личности обывателей.

После «дел», кто копался в грядках, точно роя себе могилку, кто стругал палки, кто чинил себе ноги...

Деревянные, в зелени, одноэтажные домишки, несмотря на их выверченность и несхожесть, хватали за сердце своей одинокостью... Иногда там и сям из земли торчали палки.

Дом, к которому подошел Федор, стоял на окраине, в стороне, отгороженный от остального высоким забором, а от неба плотною, железною крышею.

Он делился на две большие половины; в каждой из них жила семья, из простонародья; в доме было множество пристроек, закутков, полутемных закоулков и человечьих нор; кроме того — огромный, уходящий вглубь, в землю, подпол.

Федор постучал в тяжелую дверь, в заборе; ее открыли; на пороге стояла женщина. Она вскрикнула:

— Федя! Федя!

Женщина была лет тридцати пяти, полная; зад значительно выдавался, образуя два огромных, сладострастных гриба; плечи — покатые, изнеженно-мягкие; рыхлое же лицо сначала казалось неопределенным по выражению из-за своей полноты; однако глаза были мутны и как бы слизывали весь мир, погружая его в дремоту; на дне же глаз чуть виднелось больное изумление; все это было заметно, конечно, только для пристального, любящего взгляда.

Рот также внешне не гармонировал с пухлым лицом: он был тонкий, извивно-нервный и очень умный.

— Я, я! — ответил Федор и, плюнув жещине в лицо, пошел по дорожке в дом. Женщина как ни в чем не бывало последовала за ним.

Они очутились в комнате, простой, довольно мещанской: горшочки с бедными цветами на подоконниках, акварельки, большая, нелепая «мебель», пропитые потом стулья... Но все носило на себе какой-то занырливо-символический след, след какого-то угла, точно тайный дух отъединенности прошелся по этим простым, аляповатым вещам.

— Ну вот и приехал; а я думала заблудесси; мир-то велик, — сказала женщина.

Соннов отдыхал на диване. Жуткое лицо его свесилось, как у спящего ребенка.

Женщина любовно прибрала на стол; каждая чашечка в ее руках была как теплая женская грудка... Часа через два они сидели за столом вдвоем и разговаривали.

Говорила больше женщина; а Соннов молчал, иногда вдруг расширяя глаза на блюдце с чаем... Женщина была его сестрой Клавой.

— Ну, как, Федя, погулял вволю?! — ухмылялась она. — Насмотрелся курам и петухам в задницы?.. А все такой же задумчивый... Словно нет тебе ходу... Вот за что по душе ты мне, Федор, — мутно, но с силой, выговорила она, обволакивая Соннова теплым, прогнившим взглядом. — Так за твою нелепость! — Она подмигнула. — Помнишь, за поездом на перегонки гнался?! А?!

— Не до тебя, не до тебя, Клава, — промычал в ответ Соннов. — Одни черти последнее время снятся. И будто они сквозь меня проходят.

В этот момент постучали.

— Это наши прут. Страшилища, — подмигнула Клава в потолок.

Показались соседи Сонновых, те, которые жили во второй половине этого уютно заброшенного дома.

— А мы, Клав, на беспутного поглядеть, — высказался дед Коля, с очень молодым, местами детским, личиком и оттопыренными вялыми ушами.

Клава не ответила, но молча стала расставлять стулья. У нее были состояния, когда она смотрела на людей, как на тени. И тогда никогда не бросала в них тряпки.

Колин зять — Паша Красноруков — огромный, худой детина лет тридцати трех, со вспухшим от бессмысленности лицом, присел совсем рядом с Федором, хотя тот не сдвинулся с места. Жена Паши Лидочка оказалась в стороне; она была беременна, но это почти не виделось, так искусно она стягивала себя; ее лицо постоянно хихикало в каком-то тупом блаженстве, как будто она все время ела невидимый кисель. Маленькие же нежные ручки то и дело двигались и что-нибудь судорожно хватали.

Младшая сестра Лидочки — девочка лет четырнадцати, Мила — присела на диван; ее бледное прозрачное лицо ничего не выражало. Семнадцатилетний же брат — Петя — залез в угол у печки; он вообще ни на кого не обращал внимания и свернулся калачиком.

Все семейство Красноруковых-Фомичевых было таким образом в сборе. Клава же здесь жила одна: Соннов — уже который раз — был у нее «в гостях».

Федор между тем сначала никому не уделял внимания; но вскоре тяжелый, словно земной шар, взгляд его стал застывать на свернувшемся Пете.

— Петя у нас боевой! — вымолвила Клава, заметив этот взгляд.

Петенька, правда, отличался тем, что разводил на своем тощем, извилистом теле различные колонии грибков, лишаев и прыщей, а потом соскабликал их — и ел. Даже варил суп из них. И питался таким образом больше за счет себя. Иную пищу он почти не признавал. Недаром он был так худ, но жизнь все-таки держалась за себя в этой длинной, с прыщеватым лицом, фигуре.

— Опять лишаи с горла соскабливать будет, — тихо промолвил дед Коля, — но вы не смотрите.

И он повел ушами.

Федор — надо сказать — как-то странно, не по своему характеру, завидовал Пете. Пожалуй это был единственный человек, которому он завидовал. Поэтому Соннов вдруг грузно встал и вышел в уборную. И пока были «гости» он уже не присутствовал в комнате.

Клавочка же вообще мало реагировала на «тени»: пухлое лицо ее было погружено в сон, в котором она видела разбухший зад Федора. Так что в комнате разговаривали одни гости, как буто они были здесь хозяевами.

Дед Коля, вместо того чтобы спросить у Клавы, строил вслух какие-то нелепые предположения о приезде Федора.

Соннов приезжал сюда, к сестре, часто, но так же внезапно исчезал и никто из Фомичевых не знал, где он живет или где бродит.

Однажды, года два назад, через несколько часов после того как он внезапно исчез, кто-то звонил Фомичевым из какой-то жуткой дали и сказал, что только что видел там Федора на пляже.

Лидочка слушала деда Колю со вниманием; но слушала не «смысл» его слов, а что-то другое, что — по ее мнению — скрывалось за ними независимо от деда Коли.

Поэтому она смрадно, сморщившись белым, похотливым личиком, хихикала, глядя на пустую чашку, стоящую перед пустым местом Федора.

Павел — ее муж — был весь в увесистых, багровых пятнах. Мила играла со своим пальчиком...

Наконец, семейство во главе с дедом Колей встало, как бы отклонялось и вышло к себе.

Только Петя долго оставался в углу; но когда он скребся, на него никто, кроме Соннова, не обращал внимания.

Клава прибрала комнату, словно обмывая себе лицо, и вышла во двор. На скамейке уже сидел Федор.

— Ну как ушли эти страшилища, — равнодушно спросил он.

— Мы сами с тобой, Федя, хороши, — просто ответила Клава.

— Ну, не лучше других, — подумал Федор.

Времени еще было достаточно и Федор решил пройтись. Но солнце уже опускалось к горизонту, освещая как в игре, заброшенные улочки подмосковного местечка.

Федор устал не столько от убийства, сколько главным образом от своего разговора над трупом. С живыми он вообще почти не разговаривал, но и с мертыми это было ему не по нутру. Когда же, точно влекомый загробной силой, он произносил эти речи, то

был сам не свой, не узнавал себя в языке, а после — был надолго опустошен, но качественно так же как был опустошен всегда. Он брел по улице и, сплевывая в пустоту, равнодушно отмечал, что Григорий — приезжий, издалека, что труп не скоро найдут, а найдут, то и разведут ручками и т.д. У пивнушки безразлично дал в зубы подвернувшемуся мужику. Выпил две кружки. Почесал колено. И вернулся обратно, мысленно расшвыривая вокруг себя дома, и, войдя в комнату, неожиданно завалился в постель.

Клава наклонилась над его теплым, побуревшим от сна лицом.

— Небось порешил кого, Федя, — осклабилась она. — Чтоб сны слаще снились, а?! — И Клава пощекотала его член.

Потом скрылась во тьме ближнего закутка.

III

Сонновы знали Фомичевых сызмальства. Но Павел Красноруков появился здесь лет пять назад женившись на Лидочке.

До замужества Лидочка на всем свете признавала одних насекомых, но только безобразных и похотливых; поэтому она целыми днями шлялась по помойкам.

Павел и поимел ее первый раз около огромной, разлагающейся, помойной ямы; она вся изогнулась и подергивалась как насекомое, уткнув свое сморщенно-блаженное личико в пиджак Павла. А потом долго и нелепо хихикала.

Но Павла ничего в частности не смущало; его смущал скорее весь мир в целом, на который он смотрел всегда с широко разинутым ртом. Он ничего не отличал в нем, и в глубине полагал, что жизнь — это просто добавка к половому акту.

Поэтому его прельстила беспардонная сексуальность Лидочки. Сам он, например, считал, что его сердце расположено в члене и поэтому очень не доверял врачам.

А легкое, помойно-воздушное квази-слабоумие Лидочки облегчало ему времяпровождение между соитиями. Не раз он трепал ее блаженно-хихикающее личико и смотрел ей в глаза — по обычаю с разинутым ртом. Но даже не смеялся при этом. А Лидочка цеплялась за его могучую фигуру изощренно-грязными, тонкими ручками. Эти ручки были так грязны, что, казалось, бесконечно копались в ее гениталиях.

— Без грязи они не могут, — ласково говорил обычно дед Коля, шевеля ушами.

Оглоушивающая, дикая сексуальность Паши тоже пришлась по

вкусу Лидочке. Нередко, сидя с мутными глазами за общим обеденным столом, она то и дело дергала Павла за член.

Часто тянула Пашу — по своей вечной, блаженной привычке — идти совокупляться около какой-нибудь помойки. И Павел даже не замечал, где он совокупляется.

Но спустя год обнаружилось, что Паша все же очень и очень труден, тяжел, даже для такой дамы, как Лидинька.

Первое, мутное, ерундовое подозрение возникло однажды на прогулке около пруда, где играло много детей; Павел стал как-то нехорош, глаза его налились кровию и он очень беспокойно глядел на прыгающих малышей, точно желая их утопить.

Еще раньше Лидинька чуть удивлялась тому, что Паша дико выл, как зверь, которого режут, во время соития; а потом долго катался по полу или по траве, кусая от сладострастия себе руки, словно это были у него не руки, а два огромных члена. И все время ни на что не обращал внимания, кроме своего наслаждения.

Конечно, она не могла связать в своем уме этот факт и отношение Павла к детям, но когда Лидинька — года четыре назад — впервые стала брюхата, все начало обнаруживаться, словно тень от отвислой Пашиной челюсти надвигалась на мир.

Сначала Паша смотрел на ее брюхо с нервно-немым удивлением.

— Откуда это у тебя, Лида?! — осторожно спрашивал он.

И когда Лида отвечала, что от него, вздрагивал всем своим крупным, увесистым телом.

Спал он с ней по-прежнему ошалело, без глаз. Но иногда, резко, сквозь зубы, говорил: «вспороть твое брюхо надо, вспороть!».

По мере того как оно росло, усиливалось и Пашино беспокойство.

Он норовил лишний раз толконуть Лидиньку; один раз вылил на ее брюхо горячий суп.

На девятом месяце Паша, дыхнув ей в лицо, сказал:

— Если родишь — прирежу щенка... Прирежу.

Родила Лидонька чуть не во время, дома, за обеденным столом.

Паша, как ошпаренный, вскочил со стула и рванулся было схватить дите за ноги.

— В толчок его, в толчок! — заорал он. (Волосы у него почему-то свисали на лоб.)

Дед Коля бросился на Пашу, испугав его своим страшным видом. Дед почему-то решил, что ребенок — это он сам, и что это он сам так ловко выпрыгнул из Лидоньки; поэтому дед ретиво

кинулся себя защищать. Кое-как ему удалось вытолкать было растерявшегося Пашу за дверь.

Но присутствие младенца — его истошного писка — ввело Павла в собачью ярость и он стал ломиться в дверь, завывая: «Утоплю, утоплю!».

А разгадка была такова. Паша — раньше, до Лидоньки, у него тоже были неприятности по этому поводу — до смури ненавидел детей, потому что признавал во всем мире только огромное, как слоновые уши, закрывшие землю, свое голое сладострастие. А все побочные, посреднические, вторичные элементы — смущали и мутили его ум. Не то чтобы они — в том числе и дети — ему мешали. Нет, причина была не практическая. Дети просто смущали его ум своей оторванностью от голого наслаждения, и заливали его разум, как грязная река заливает чистое озеро, всякой мутью, досками, грязью, и барахлом...

— Почему от моего удовольствия дети рожаются? — часто думал Красноруков, метаясь по полю. — Зачем тут дети?..

Как только Павел видел детей, он сопоставлял их со своим сладострастием и впадал в слепую, инстинктивную ярость от этого несоответствия. Подсознательно он хотел заполнить своим сладострастием весь мир, все пространство вокруг себя, и его сладострастие как бы выталкивало детей из этого мира; если бы он ощущал своих детей реально, как себя, то есть допустим детишки были бы как некие для виду отделившиеся, прыгающие и распевающие песенки его собственные капельки спермы, вернее кончики члена, которые он мог ощущать и смаковать так, как будто они находились в его теле — тогда Красноруков ничего не имел бы против этих созданьиц; но дети были самостоятельные существа, и Красноруков всегда хотел утопить их из мести за то, что его наслаждение не оставалось только при нем, а из него получались нелепые, вызывающие, оторванные от его стонов и визга последствия: человеческие существа. Для Павла ничего не существовало в мире, кроме собственного вопля сексуального самоутверждения, и он не мог понять смысл того, что от его диких сладострастных ощущений, принадлежащих только ему, должны рождаться дети. Это казалось ему серьезным, враждебным вызовом. Он готов был днем и ночью гоняться с ножом за детьми — этими тенями его наслаждения, этими ничто от сладострастия... Все это, в иных формах и словах, прочно легло в сознание Павла...

Дите удалось тогда припрятать; дед Коля метался с ним по кустам, залезал на крышу, прятал дите даже в ночной горшок.

Отсутствующая девочка Мила — и та принимала в этом участие. Только Петенька по-прежнему скребся в своем углу.

Но Паша не сдавался, серьезный, с развороченной челюстью, он скакал по дому с огромным ножом на груди. Потом сбежал куда-то в лес...

История эта, правда, разрешилась стороной; дите само умерло на восьмом дню жизни. Полупьяный врач определил — от сердца.

К счастью Лидонька была проста относительно таких исчезновений; детишек она скорей рассматривала как милую прибавку к совокуплению; поэтому она хоть и поплакала, но не настолько, чтобы забыть о соитии.

Сразу же в семействе водворился мир.

Все потекло по-прежнему.

Второй раз — через год — Лида забеременела тогда, когда Паша совсем остервенел: он спал с ней по нескольку раз в день, бегал за ней, натыкаясь на столбы, и, казалось, готов был содрать кору с деревьев. Искусал себя и ее в кровь.

Паша был так страшен, что в конце концов Лидонька с перепугу дала ему слово умертвить ребенка. (С легальным абортом уже запоздали). Это было опасно — но выполнимо; нужно было скрыться — чуть в стороне, в избенке, в лесу. И пруд для этого выбрали подходящий. Кругом вообще была тьма «невоскреших» младенцев: некоторые уборные и помойные ямы были завалены красными, детскими сморчками: плодами преждевременных родов. Недаром неподалеку гудело женское общежитие.

Избенка в лесу оказалась уютливой, низкой, с черными паутинными углами и низкими окнами...

Паша каждый день пробирался к Лидиньке; и забывая о брюхе, неистово лез на нее.

Дело кончилось неожиданно и неподсудно: перед самыми родами Паша, озверев, полез на Лидоньку; дите уже должно было выходить и повернулось головкой к выходу, на Божий свет; но Паша, сам не понимая того, пробил его головку своим членом...

Лидонька попала в больницу; ребенок выкинулся мертвым, с прошибленным, округлой формы, местом на темени; история замялась. Но Паша — после этого — прямо-таки вознесся; он почувствовал ретивое, скандальное удовлетворение, что может убивать «щенят» своим членом. Осознав это, он долго катался по траве и хохотал.

С блаженной Лидонькой уладиться было, казалось, просто; «дети у нее только в уме есть», — говаривал дед Коля; тем не менее она упорно отказывалась от абортов.

Но Паша сам приладился кончать «блаженных младенцев», причем немного раньше, на седьмом месяце беременности, разрывая своим истеричным длинным членом родовой пузырь.

Следовали преждевременные роды и дите — кстати, очень удачно — выползало всегда мертвое; один раз только у Паши, с раскрытым ртом наблюдавшим за этими сценами, возникло сомнение; он подошел и, присев на корточки, пошевелил сгусток.

Так счастливо прошло несколько лет. Лидинька от этих «концов» была в себе; только стала чуть рассеянней и полюбила цветы на помойках.

Сейчас, перед описанным приездом Соннова, Лидинька как раз была в том положении, когда пора «кончать». Улыбаясь своим призрачно-прилипчивым к наслаждению лицом, она говорила, показывая на живот: «Трупики, трупики в себе ношу».

IV

На следующий день после приезда Федор проснулся поздно и стал бродить по дому. Клава все время следила за ним: боялась, что потеряется.

Клавуше с трудом давалась жизнь без объективизированной нелепости; это была как бы подмога ее душе... И такой нелепостью был для нее Федор... «И ест он только по ночам и людей за зря убивает», — умилялась Клава.

Она была немного сексуальна и удовлетворялась любым способом, от нормальных до психических. Но не раз вспоминала при этом Федора.

Вообще, чем нелепее случалась форма полового удовлетворения, тем больше ей нравилось. Бывало, что засовывала она себе в матку и голову небольшого живого гуся. Он только истошно махал крыльями, обсыпая перьями ее живот. Большей частью это было громоздко и неудобно и гуси играли роль скорее не средства, а символа. Одному Богу, вне всякого сомнения, было известно, как она управлялась со всей этой дикой бутафорией и какие функции выполняла вся эта живность. Но Федя олицетворял в ее глазах не только сексуальную нелепость, но главным образом нелепость постоянную, вечную.

Она не решалась с ним даже спать, и сама половая жизнь Федора была для нее как темное ведро.

Клава, как тень, но издалека, сопровождала Федора за его спиной, когда он шатался по разным закоулкам — закуткам дома.

«Лишь бы не повесился. Для виду, — думала она. — А здесь

я его схороню... Деньжищ у меня от отцовских делишек многочисленно... Да и работа — почти домашняя, раз в два дня показаться!»...

...Двор, облепивший дом Фомичевых-Сонновых был не разделен забором пополам, как обычно. И Федор, бродя по двору, не раз оказывался на территории Фомичевых. Дед Коля окликал его, пытаясь с ним заговорить. Но Федор пропускал все понятия мимо ушей; только Петенька, скребущийся где-нибудь в углу, у забора, пугал его: Федор иногда боялся по настоящему крепких людей.

Поэтому он часто брел по ближайшим улочкам, особенно около пивной.

Правда теперь он не различал пива от воды; и вместо пива один раз мутно выпил подсунутую кружку фруктовой жижи. Ему безразлично казалось, что окружающие дома — вечно ирреально пошатываются; и пошатывается даже воздух или тонет в пелене; но стоило ему на чем-нибудь тупо сосредоточиться, как этот предмет выплывал из общей иллюзорности и становился устойчивым; хотя в сердцевине своей оставался тем же маняще-неопределенным.

Поэтому Федор, когда пил пиво или просто где-нибудь сидел на скамье, то для большей устойчивости он клал руку на голову подвернувшемуся мужику или мальчонке.

Клава с тревогой чувствовала, что он внушает страх окружающим.

Так прошло несколько дней. Федор своим присутствием давил на людей. Старушку-соседку Мавку он перепугал тем, что подошел к дыре в ее заборе и долго, часа два, тяжелым взглядом смотрел в ее окно. Пустили слух, что он ловит кошек за хвост.

Дело дошло до нехорошего, когда он вдруг, прогуливаясь, стал брать за руку сиротку-девочку с Дальнего переулка.

Говорили, что он играет с сироткой, как с мертвой кошкой. Но Соннов, не смущаясь, просто смотрел ей в лицо. Скорее всего она служила ему вместо палки.

Усугубилось, когда Федор, до этого хоронившийся от Петеньки, ни с того, ни с сего подкараулил и съел его суп, который тот варил из своих прыщей.

Поднялся страшный гвалт и Павел хотел было прибить Соннова поленом. Дед Коля — собственно он был дедом мертвеньких внучат — прыгал вокруг Федора и просил его выблевать суп обратно...

Вмешалась Клава и отвела Федора в дом.

— Полезай-ка ты, Федя, в подпол, — тихо сказала она ему

наедине. — Схоронишься. Сейчас жарко и я всем там тебя обеспечу. Так и будешь жить. А я людям скажу, что ты уехал. А то неровен час — случится что... Ведь на твой след могут напасть — ишь сколько людей на дурачка прирезал. Полезайка в подпол.

Федор не возражал и его грузная фигура скрылась в глубине.

V

Подпол, куда уполз Федор, был дик и неправдоподобно глубок. В нем можно было ходить во весь человеческий рост. Он делился на два половины, соответственно делению дома. Через три маленьких окошечка в кирпичной стене лился узкий, извращенный, дневной свет — сюда в полутьму, словно в живое, пыльное, состоящее из поломанных предметов чудовище.

Клава устроила Федора в углу, на старой железной кровати, обложив ее пухлым, мягким тюфяком, который она поцеловала. Для еды почему-то приспособила — наверное из-за крепости — новый, сверкающий ночной горшок.

Несколько дней Федор проспал и проел. А потом стал вглядываться в темноту.

Однажды ему приснился сон, который был более реален, чем жизнь. Ему снилась улица около дома сестры, где он пил пиво у ларька. И дома больше не пошатывались. Они стояли прямые, ровные, и казалось, что ничто не могло их сдвинуть. И он пил пиво у ларька — и пил реально, реально, одну кружку за другой, но видел, что это кто-то другой, а не он, огромный, огромный, выше домов, пьет пиво...

Федор проснулся. Он не любил снов. Мгла в подпольи шевелилась. Сидя на кровати, он вглядывался в легкие очертания и вдруг решил, что в дальнем углу есть разум. Пожевав, он присел около этого места, точно прикованный к нему...

А однажды Федору показалось в пространстве бесконечное шевеление мух; он стал пугать это движение. И скоро шевеление мух переместилось в сторону, к окну. Свет пронизывал это колебание на одном месте. Правда, никаких мух не было.

В подполе Федор чувствовал себя чуть лучше, чем наверху. Не было излишнего беспокойства и он целиком погрузился в неопределенное созерцание. Очень плохо, что он не умел давать названия тому, что видел как тайну.

Одна Клава заглядывала к нему.

Он относился к ней со странной необходимостью; впрочем с необходимостью проходящей мимо его сознания.

Он любил похлопывать ее по заднице; Клава усмехалась в паутину.

Но вскоре Федору стало не хватать людей, не хватать человеческих загадок. Иными словами, ему некого было убивать. (Клава была не в счет: он даже не относил ее к людям).

Тогда он решил мысленно подставлять людей в одинокие поленья, в странные, без одной ноги табуретки, в поломанные прутья. И взяв топор, вдруг выходил из своего уюта и с бешеным усилием воображения рубил фигуры.

Клаве он объяснил, что это ему нужно для напоминания.

Между тем Федор объедался; во тьме у него — после долгих месяцев безразличия — часто вставал член, и он не заметил, как стал соединять этот восход со смертию.

Сначала он просто искал удовлетворения и бродил со вставшим членом по всему подполу, ворочая предметы, двигаясь с приподнятыми, точно для обхвата, руками. Может быть, искал что-то сексуальное в стене...

Но смерть и все, что ее окружало, по-прежнему царили в его душе. Вернее, смерть и была его душой.

И в голову Федора вдруг вошла идея; когда он ее обдумывал, его твердое, каменное лицо становилось, точно облепленное глиной, подвижным, подвижным от удивления. Кажется, оно поворачивалось и смотрело вверх, на потолок...

VI

Между тем наверху события надвигались. Создавалось такое впечатление, что Лидинька на этот раз не хочет убийств «блаженных младенцев». Может быть, в ней говорило просто вздорное упрямство. Возможно также, что она предчувствовала в этом младенце своего будущего жениха или просто любовника.

Но так или иначе она смотрела на Пашу маленьким зверем и это передалось другим членам семейства, кроме, разумеется, Петеньки. Дед Коля залез на чердак и пытался оттуда поговорить с Пашей.

Мила собирала для младенца цветы.

Клава же смотрела на эту суету мельком. От всей этой обстановки Паша всерьез стал нервничать. Он нелепо, в коридоре, при всех, бросался на Лидиньку, прижимая ее, чтоб изнасиловать и проткнуть дитятю.

Но Лидинька не поддавалась. Часто можно было видеть, как она скакала от него по огромным, разбросанным помойкам. (Па-

ша повредил себе ногу и не мог ее догнать). Дед Коля всерьез подумывал о милиции, а Лидинька запиралась от Паши в своей комнате. Между тем Федор внизу, под полом, начал рыть ход на половину Фомичевых...

Однажды, к вечеру, Паше вдруг по бешенству удалось ворваться в Лидинькину комнату. Он вбежал туда с обнаженным, приподнятым членом, который он — для большей ярости — ошпарил кипятком. Этот вид ошпаренного члена, от которого даже как бы шел пар, неожиданно подвеселил и соблазнил Лидиньку; она оглушенно отдалась Паше.

Паша, который был вне себя, изловчившись мигом порвал родовой пузырь с младенцем...

...Когда ребенок стал выходить, Паша сбег, и Лидинька мучилась одна; потом, правда, подоспел дед Коля. Он и принял мертвого внука. Паша между тем во дворе играл сам с собой в салки. Лидинька, как ни была слаба, но на этот раз страшно разозлилась.

— Надоел он мне, паразит, — выговорила она. — И член у него стал какой-то ненормальный.

— А мне надоело крестить мертвых внуков, — заорал вдруг дед Коля и замахнулся на лампу мокрой тряпкой.

Лидинька прибрала дитятю в коробочку, которую поцеловала и прижала к груди.

— И везет же ему, скотине: все время мертвенькие выходят, — добавила она. — А мог бы и живой выйти, хоть и преждевременно. Назло ему, суке, скажу, что живой родился. И что мы его в больницу отдали. А ты, папаня, подтверди... Может в лес, как тогда, убежит.

Дед Коля пошевелил ушами. Пристальный, тяжелый взгляд Федора за ними с низу, из подпольного угла. (Федор уже прорыл ход на вторую половину, к Фомичевым).

Паша пришел только вечером, серьезно подвыпивши.

— Врач был?! Оформила?! Закопала?! — гаркнул он на Лидиньку.

Они были одни в комнате.

— Радость, Паша. Сберег Бог от твоего члена, — внутренне чуть надсмехаясь, ответила Лида просветленно. — Живой родился...

— Да ты что?.. Не могет быть... А где дите?! — Павел опустился на стул.

— Да уж в больницу отдали; слабое дите, преждевременное.

— Да ты рехнулась... Что?!

— Спроси у деда.

Павел исчез. Вернулся он развинченный с диким, красным лицом.

— Давайте дите! ...Изнасилую ево! ...Изнасилую! — орал он. — Почему ты родила живого, стерва?! ...Для чего ж я член шпарил?!!

Лидинька показала Паше язык.

Это совсем добило Павла; разом, как коршун, он кинулся бить Лидиньку... От первого удара Лидинька издала страшный вопль, даже Клава побежала на половину Фомичевых... Только Петенька, как всегда, скребся в углу.

Когда дед Коля, Клава и Милочка внеслись в комнату, Лидинька уже была почти без сознания...

Только истошный крик: «Ты убьешь ее, ирод!» — вдруг спугнул Павла и он словно очнулся. Прибежала даже соседка-старушка Мавка. Разбухший от водки Павел, покачиваясь, ушел из дому.

Лидинька оказалась очень плоха; она с трудом пришла в себя; хотели было вызвать неотложку или скорую помощь; но Лида отчаянно замотала головой...

— Шум будет... Так уляжется, — прошептала она, остановив свои, ставшие вдруг широкими, мутно-помойные глаза на пятне в углу, — не сообразила я, что он так сразу взбесится...

Использовали домашние средства и Лидиньке вроде полегчало.

Между тем надвигалась ночь. Павел не приходил. Все, усталые, одуревшие, разошлись по своим щелям. Лидинька, уже ожившая, захотела остаться одна и поспать спокойно. Все двери накрепко заперли на засовы; а на окнах в этой местности — и так частенько были железные решетки.

VII

Среди ночи Лидиньке стало плохо; но сама она не могла понять, умирает она или ей это снится.

Червивое, изъеденное дырами пространство окружало ее со всех сторон. А изнутри точно подкатывались к горлу черти. Это было так странно, что ей не пришло в голову ни встать, ни звать на помощь. На минуту у нее мелькнула мысль, что она наоборот, выздоравливает.

В комнате было чуть светло. Вдруг она увидела в полутьме, сквозь боль и реальность, что половица в углу медленно пре-

поднимается и чья-то громоздкая, черная, согнутая фигура вылезает из-под пола.

Хотя сердце ее заколотилось, она не вскрикнула, словно этот человек был лишь продолжением ее безмерного, предсмертного состояния. В то же мгновение, червивое, в дырах пространство скомкалось в Лидиных глазах и молниеносно вошло в эту фигуру, которая теперь осталась единственной концентрацией Лидинькиной агонии, одна в комнате.

Федор, словно прячась от самого себя, подошел к постели и сел на стул.

— Попасть надо в точку, попасть, — думал он. — Чтоб охватить душу. Омыть. Только: когда смерть... смерть, самое главное, — и он тревожно, но с опустошением, взглянул на Лидиньку.

Та смотрела на него ошалело-изумленно.

— Не балуй, Лидинька, — тихо вымолвил Соннов, притронувшись к ее одеялке, — не дай Бог прирежу. Я ведь чудной. Поговорить надо.

Черти, внутренние черти, по-прежнему подкатывались к горлу Лидиньки: она чуть сознавала, где находится. Почему-то ей показалось, что на голове у Федора темный венец.

— О чем говорить-то, Федя, — прошептала она.

Ее лицо пылало; черты окостенели, как перед смертью, но глаза струились небывалым помойным светом, точно она испускала через взгляд всю свою жизнь, все свои визги и бдения.

— Кажись, сама умирает, — удивленно обрадовался про себя Федор. — Значит, все проще будет.

— Федор, Федор, — пролепетала Лидинька и вдруг погладила ему колено, может быть для того, чтобы не пугал ее вид Соннова.

— Погостить пришел я, — ответил, глядя в стену Федор. — Погостить.

— Погостить... Жар тогда приподыми... Жар, — метнулась она. Федор резко сдернул с нее одеяло, наклонился, и вдруг приблизив свое лицо к ее горящему личику, стал обшаривать ее глазами.

— Чего ты, Федя?! — она посмотрела на его рот. Между тем из глубин что-то выталкивало ее сознание.

— Помрет, помрет, бестия, — думал Федор и лихорадочно шарил рукой не то по подушке, не то по волосам Лидиньки. — Вот тут... Вот тут... Но больше всего в глазах...

Он вдруг отпрянул и остановил на Лидиньке свой знаменитый, тяжелый, замораживающий непонятным взгляд.

Она замерла; на миг выталкивание сознания прекратилось; «не поддамся, не поддамся», — пискнула она внутренним чертям и опять застыла зачумленная взглядом Соннова.

— Переспать с тобой, Лида, хочу, — громко сказал Федор.

Полумертвенькое лицо Лидоньки вдруг кокетливо повернулось на подушке.

Не сводя с нее дикого, пристального взгляда, Федор, осторожно, почти скованно, стал снимать штаны...

Когда он лег и его глаза, на мгновенье потерявшие Лидоньку, опять приблизились к ее лику, он увидел на ее пылающем, полуживом личике выражение судорожного, хихикающего блаженства; ее лицо сморщилось в гадючной истоме и спряталось на груди Федора, словно стыдясь неизвестно чего.

Федор же думал только об одном: о смерти. Идея так неожиданно охватившая его в подполье была овладеть женщиной в момент ее гибели. Ему казалось, что в это мгновение очищенная душа оголится и он сцепится не с полутрупом, а с самой выходящей, бьющейся душой, и как бы ухватит этот вечно скрывающийся от него грозный призрак. Тот призрак, который всегда ускользал от него, скрываясь по ту сторону жизни, когда он, прежде, просто убивал свои жертвы.

Лидинька между тем начала хохотать; ее лицо раздулось от противоестественного хохота, который заглушался как в подушке огромным телом Федора.

Она хохотала, ибо что-то сдвинулось в ее уме и наслаждение стало присутствовать среди воя чертей и смерти.

Федор между тем искал Лидину гибель; внутренне он чувствовал, что она близка; он задыхался в неистовом ознобе, нащупывая ее как крот; глядел в истлевающее лицо Лидиньки и держался, чтоб кончить в тот момент, когда она умрет, на грань между смертью и жизнью.

Лидинька ничего не понимала; ее трясло от прыгающей бессмыслицы...

— Ретив, ретив, Фединька... Полетим, полетим с тобою... Из трубы, — пискнула она.

Вдруг что-то рухнуло в ее груди и она разом осознала, что умирает. Она замерла, глаза ее застыли в безмолвном вопросе пред пустотой.

Теперь уже только слабая тень сексуальной помоечности мелькала в них.

Федор понял, что конец близок; чуть откинув голову, неподвижно глядя ей в глаза, он стал мертвенно душить ее тело, да-

вить на сердце — чтоб ускорить приход желанного мига. «Помочь ей надо, помочь», — бормотал он про себя.

— Заласкал... Навек, — слабо метнулось на дне ума Лидиньки.

И вдруг все исчезло, кроме одного остановившегося, жуткого вопроса в ее глазах: «Что со мной?.. Что будет?». Федор сделал усилие, точно пытаясь выдавить наружу этот вопрос, этот последний остаток идеи.

И увидел, как ее глаза вдруг закатились и Лидинька, дернувшись, издала смрадный хрип, который дошел до ее нежных, точно усеянных невидимыми цветами губ.

В этот миг Федор кончил...

Ошалевший, точно сбросивший ношу, он сидел на постели рядом с трупом Лидиньки и шарил рукой вокруг себя. Сравнил свое облегчение с ушедшей душой Лидиньки. У него было такое ощущение, точно он соприкоснулся с невидимым, которое стало плотным. В доме было по-прежнему тихо. Даже мыши шуршали неслышно.

Федор, полностью так и не открывши самого себя в себе, встал и осторожно, но механически прибрал постель.

Потом скрылся в глубине, в подполье.

Через тридцать мерных минут открылись половицы в коридоре, на Клавиной половине дома. Федор пробрался по закуткам к двери сестры и постучал.

Заспанная, в пятнах от снов, Клава открыла.

— Покойница, Лидынька, покойница ужо, — пробормотал Федор, мутно оглядывая Клаву.

Он был весь еще охвачен прошедшим наслаждением, которое сплелось в нем внутри с застывшим столбом смерти.

Клава тихо взвизгнула.

— Уйду я, сестренка, — ощупывая ее, как во сне, продолжал Федор, — в лесу поживу дня два... В том месте... Знаешь... Лидинька почти сама умерла... Нигде на горле следов нет... Я только сердце чуть придавил... Я думал все потяжельше будет... А она сама бы, наверное, от Павла померла... А может и нет, кто знает, — Федор повернул бычью голову к окну.

Пока он высказывал это угрюмо, с паузами, Клава, не говоря ни слова, собрала, что нужно.

— В подполе я все прибрал, Клава, все ходы, — аккуратно подтвердил Федор.

И вдруг сел на скамейку и во весь голос запел: что-то дурацкое, дурацкое, но страшное. Клава толкнула его, но с любовию:

— Разбудишь весь дом! Певец!!

Наконец, Федор поднялся и ушел.

Наутро, когда Клава онелепив в душе все происшедшее, встала, у Фомичевых было полно милиции, врачей и соседей.

Дед Коля плакал на земле; Мила очутилась на чердаке; Петеньку никто не видел.

Все обошлось по инерции и Клаве не пришлось вздрагивать телом; Лидинька оказывается что-то подцепила инфекционное во время ужасных родов; плюс избиение, что-то оторвавшее; свидетели были налицо: прямая причина смерти — не выдержало сердце и т.д. Никому не пришло в голову проводить дополнительные исследования. Вечером уже поймали и отдали под суд Павла; отпереться ему казалось невозможным, да и сам он был уверен, что привел Лидиньку к гибели.

Хоронили Лидусю через два дня, утром, в солнечный день; гроб был так украшен цветами, словно они прощались с Лидинькой.

— Одеколоном ее обрызгать, духами! — кричала соседка Маврия.

Но никто не обращал на ее крик внимания. А когда гроб опускали в могилу, далеко за деревьями неприметно мелькнула фигура Федора...

...Точно он пришел на свидание с тем невидимым, кто должен остаться от Лидиньки и с кем он, Федор, пытался вступить в исступленную, роковую связь.

VIII

Светло, опустошенно стало в доме Фомичевых—Сонновых. Павел — в тюрьме, Лидинька — в могиле. Вроде и все по-прежнему, а чего-то все равно не хватает.

Милонька зачастила к сестре на могилку и почему-то полюбила слепых, только что родившихся котят, словно они приносили ей сведения с того света. Она играла ими в солдатики.

Дед Коля где-то в углу повесил портрет Лидоньки.

— Правильно, дедусь, — всхлипнула Клава, — пусть Лидинька-то хоть раз на умном месте повисит.

— Ну те в гроб, — отозвался дед Коля. — Девка мертва, а ты все об ее уме думаешь. Пошла вон...

Несколько дней немилосердно пекло солнышко, погружая все дворы и строения в четкую, вымышленную жизнь. Даже Клавин котенок Клубок катался по траве, сражаясь с собственными гал-

люцинациями. Федор пришел через месяц: похудевший, усталый, в том же бормотании.

— Тихо все, Клава? — спросил он.

— Все былью поросло, Федя, — чмокнула Клава. — Дед Коля хотел повеситься, да веревка оборвалась.

— Ну-ну, — ответил Федор и пошел в сортир.

Обосновался он в одной из четырех Клавиных комнат. Выходить почти не выходил, только тупо сидел на постели, и бормотал на гитаре свои жуткие песни.

— Мой-то веселый стал, — похотливо усмехалась в себя Клава. — Его хлебом не корми, только дай почудить.

Иногда она осторожно приоткрывала дверь и, сладостно пришептывая, пристально наблюдала за Федором.

Ей нравилось, как он бродил по комнате от стула к стулу или, опустившись на четвереньки, лез под кровать

А Соннов между тем искал исхода. Не зная соотношения между собой и миром, он тем не менее уже поводил носом: нет ли где в этом туманном мире очередной жертвы или «покоя», как иногда говорил Федор.

Однажды он проспал очень долго, утомленный бессмысленным и длинным сновидением про бревно.

Клава разбудила его.

— Я молочка тебе принесла, Федя, — сказала она. — А потом новость: в верхней комнате у меня жиличка. Из Москвы. Временно, на лето. От Семена Кузмича, знаешь. Ему-то не стоит отказывать.

Федор оторопело уставился на нее.

— Только, Федя, — присев около брата, чуть даже не облапив его, добавила Клава, — чтоб насчет игры твоей — удушить там или прирезать — ни-ни. Тут дело сразу вскроется. Ни-ни. Я знаю, ты меня слушаешься, иначе б не взяла ее..

— Но,но, — пробурчал Федор.

Клава, вильнув личиком, ушла.

Днем в доме никого не осталось: все ушли по делам, Петенька же был не в счет.

Жиличка Клавы — стройная, изящная женщина лет двадцати пяти — одна бродила по двору, принадлежа самой себе.

Федор стоял у своего окна, за занавеской, и пристально, сжав челюсть, смотрел на нее. Штаны у него чуть спустились и он придерживал их на заднице одной рукой. Женщина — она была в простой рубашке и брюках под мальчика — сделала ряд изящных движений и вдруг в ее руках оказалась... скакалка, и она стала

быстро, сладенько поджимая ноги, прыгать по одинокому двору, окруженная высоким забором и хламом.

Это привело Федора в полное изумление.

Потом женщина, перестав скакать, прилегла на скамейку. Она так упивалась солнцем или скорее собою, греющейся на солнце, что тихонько приподняла край рубашечки и стала поглаживать себя по голому животу.

Федор полез за биноклем; наконец достал старый, театральный бинокль и, нелепо приговаривая, стал рассматривать лицо этой женщины.

Оно тоже ввергло его в недоумение. Женщина между тем встала и, задумавшись, брела по траве. Внешне ее лицо походило белизной и хрупкостью на фарфоровую чашечку; лоб был изнеженно-интеллигентен, рот — сладострастен, но не вызывающе открыто, а как бы в жесткой узде; выделялись глаза: синие, чуть круглые, но глубокие, с поволокой и бездонной вязью синих теней на дне; брови — тонкие, болезненно-чувствительные, как крылья духовной птицы; общие же черты были нежные и умные, одухотворенно-самовлюбленные, но с печатью какой-то тревожности и судорожного интеллектуального беспокойства. Ручки томные, трепетные, все время ласкали горло, особенно во время невольного глотка.

Таков был вид Ани Барской.

Федор так и простоял часа два у окна.

Потом пришла Клава. Федор слышал сверху, как разговаривает Анна. Ее голосок — дрожащий, пронизанный музыкой — опять приковал мертвое внимание Федора. Поздно вечером, Соннов, совсем одурев, постучал и вошел в комнату Анны.

— Как живете, тетенька!? — грузно откашлялся он.

— Вы брат Клавдии Ивановны?! С чем пришли? — был ответ.

Федор сел за стол и мутно оглядел Анну.

«Как с того света», — почему-то решил он и уставил свой холодный, пронизывающий, точно парализованный взгляд на ее беленькой, нежной шее.

— Что, нравится?! — вдруг спросила она, заметив этот взгляд.

Федор как-то трупно пошевелил толстыми пальцами. И усмехнулся.

— Не то слово, — вымолвил он.

— А какое же?! — Анна с легким любопытством оглядела его.

— Скелет, — ответил Федор, уставившись в стол.

Анна звонко рассмеялась и ее горлышко задрожало в такт смеха.

— Вот и я думаю, не одиними ли я шуточками занимаюсь, — грозно проговорил Федор. — Как проверить, а?

— А чем вы занимаетесь? — спросила Анна.

Федор встал и, изредко мутно поглядывая на Анну, как на пустое, но странное пространство, начал медленно ходить вокруг Барской, сидящей на стуле, как ходит парализованное привидение вокруг куска мяса.

Аня чуть взволновалась.

— Черт возьми, вы любопытный, — проговорила она, внимательно всматриваясь в Федора. — Вот уж не ждала. Так значит вас интересуют трупы?!

Федор вдруг остановился и замер; он повернул свою бычью голову прямо к женщине и громко сказал: «Занятно, занятно!».

— Что занятно?! — воскликнула Барская.

— Не трупом интересуюсь, а жизнью трупа. Вот так, — ответил Федор и, сев против Анны, похлопал ее по ляжке.

Другой же рукой незаметно пощупал нож — большой, которым режут свиней.

— Ого! — воскликнула Анна. Слова Федора и его жест взбудоражили ее. Она вскочила. — А знаете ли вы!! — оборвала она его, что труп — это кал потустороннего. Вы что же ассенизатор?!

— Чево?! ...Как это кал потустороннего?!

— Очень просто. Мы, вернее то, что в нас вечно, уходим в другой мир, а труп остается здесь, как отброс... смерть — это выделение кала и калом становится наше тело... Знаете...

— Мало ли чего я знаю, — спокойно ответил Федор. — Но все равно «труп» — хорошее слово... Его можно понимать по-разному, — добавил он.

— Вы любите мертвые символы, слова?! — бросила Барская.

Федор вздрогнул: «А ты их знаешь?!» («Ни с кем я еще так не разговаривал», — подумал он.)

Анна, закурив, продолжала разговор. От некоторых слов у Сонова чуть расширились зачки. Вдруг Федору захотелось встать и мгновенно прирезать ее — разом и чтоб было побольше крови. «Вот тогда будешь ли ты так говорлива на умные слова?! — подумал он. — Ишь, умница... Поумничаешь тогда в луже крови».

Но что-то останавливало его; это было не только невыгодность обстановки и предупреждение Клавы — Федор совсем последнее время одурел и даже забывал свойства действительности, как будто она была сном. Нет! — Но что-то в самой Анне останавливало его. Он никогда раньше не встречал человека, который, как он смутно видел, «вхож» в ту область — область смерти —

которая единственно интересовала Федора и в которой сама Анна видимо чувствовала себя, как рыба в воде.

На один миг Федору даже показалось, что она знает об этом столько, что по сравнению с этим его опыт как лужица по сравнению с озером. Так ловко и уверенно говорила Анна. И в то же время какие-то подсознательные токи доходили от Анны до его отяжелевшей души. И из интереса чем же кончится этот разговор и что вообще в дальнейшем может сказать ему Анна о смерти — Федор не встал с места, не зарезал Анну, а остался сидеть, уставив свой тяжелый, неподвижный взор на маленькой, подпрыгивающей в такт разговору туфельке Барской.

Они проговорили в том же духе еще около часа.

— Неужели вас действительно так интересует потусторонняя жизнь?! — спросила Анна.

Может быть впервые за все свое существование Федор улыбнулся. Его лицо расплылось в довольной, утробно-дружелюбной, посвоему счастливой, но каменной улыбке. Он вдруг по-детски закивал головой.

— Мы, интеллигенты, много болтаем, — начала Анна, пристально глядя на Федора. — Но не думайте, лучшие из нас могут также все остро чувствовать, как и вы, первобытные... Хотите, Федор, я познакомлю вас с людьми, которые съели в этом деле собаку... Они знают ту жизнь.

Соннова мучила темная голубизна Анниных глаз. Но это предложение заволокло его. Он почуял мутное влечение к этим людям.

Встал и опять заходил по комнате.

— Значит, дружбу предлагаете? Ну что ж, будем дружить, — угрюмо сказал он. — А как ежели с тобою переспать? — вдруг выбросил он.

— Иди, иди. Не приставай ко мне никогда. Лучше занимайся онанизмом, — сухо вспыхнула Анна.

— Без трупа тяжело, — сонно проурчал Федор. — Ну да ладно... Я не бойкий... Плевать...

— Фединька, Федюш, — раздался вдруг за дверью тревожный, но сладенький голос Клавы.

Дверь приоткрылась и она вошла. Несколько оторопев Клава вдруг умилилась.

«Вот Аннушка жива! Вот радость-то!!», — тихо проурчала она себе под нос, всплеснув руками.

— Федуша, иди, иди к себе. А то еще поженешься... на Анне-ньке... Хи-хи... И чтоб, к ней не лезть... дурень... дите, —

прикрикнула она на Федора, вздрогнув своим пухлым телом.

Федор вышел.

— Вы, Аня, не обращайте на него внимания, — опять умилилась Клава, кутаясь в платок. — Он у меня добродушный, но глупый. И зверем иногда глядит по глупости.

Но Анна и так не обращала на Федора особенного уж внимания. По-видимому у нее было кое-что поважнее на уме.

Но на следующее утро, когда Федор, угрюмо дремлющий на скамейке во дворе, попался ей на глаза, он снова заинтриговал ее.

— Знаете, Федор Иванович, — сказала она с радостным удивлением глядя в его жуткие, окаменевшие глаза, — я сдержу свое слово. И познакомлю вас с действительно великими людьми. Но не сразу. Сначала вы просто увидите одного из них; но знакомство будет с его... так сказать... слугами.. точнее с шутами... Это забавные людишки... Повеселитесь... Для нас они шуты, а для некоторых — божества... Но поехать надо сейчас, в одно местечко близь Москвы! ...Поедете?!

Федор промычал в ответ.

Через полчаса они уже были у калитки. Бело-пухлое, призрачное лицо Клавы мелькнуло из кустов.

— Федор — ни-ни! — быстро прошептала она брату.

Соннов согласно кивнул головой.

IX

Ехать нужно было на электричке. Две по жути непохожие фигуры подходили к станции: одна — Федора: огромная, сгорбленная, аляповато-отчужденная, как у сюрреального вора; другая — Анны: изящная, маленькая, беленькая, сладострастно-возбужденная неизвестно чем.

Одинокие, пьяные инвалиды, сидящие на земле, провожали их тупым взглядом. Даже в набитом поезде на них обратили внимание.

— Папаня с дочкой в церкву едут... Венчаться, — хихикнула слабоумная, но наблюдательная девочка, примостившаяся на полу вагона.

Федор с ошалело-недовольным ликом смотрел в окно, словно его могли заинтересовать мелькающие домишки, заводы, пруды и церкви.

Анна чуть улыбалась своим мыслям.

Сошли минут через двадцать. И сразу же начался лес, вернее парк, безлюдный, но не мрачный, похотливо-веселый, солнечный.

Анна провела Федора по тропинке и скоро они очутились около поляны; в центре ее было несколько человек мужского пола...

— Садитесь, Федор Иванович, здесь на пенек и смотрите, — улыбнулась ему Анна. — Увидите представление.

И оставив его, она направилась к этим людям. Их было всего четверо, но Анна стала разговаривать с одним из них — астеничным, среднего рода, чуть женственным молодым человеком в белой рубашке лет двадцати восьми. Очевидно она что-то рассказывала ему о Соннове, и он смеялся, даже не глядя в сторону недалеко расположившегося Федора.

Человек в белой рубашке вдруг сам присел на пенек; у ног своих развернул сверток с холодной закуской и бутылью сухого вина. Анна прилегла рядом. Молодой человек повязал себе на шею салфетку и разлил вино по стаканам. Вдруг он хлопнул в ладоши — и остальные три человека: один — приземистый, но крупный, с бычьей шеей и непонятно-денегеративным лицом, второй — высокий, тоненький, извивный, а третий — изящный, белокурый, как маленький Моцарт, с воем бросились в сторону, к дереву, где лежали какие-то сумки и сетки.

Набросившись, они стали что-то вынимать из сеток. К немалому удивлению Федора это оказались: два щенка, котята, птички в клетке и еще какая-то живность... Тот, кто был с непонятно-дегенеративным лицом, схватил щенка и, вцепившись, перекусил ему зубами горло... Тоненький, присев, сделал какие-то нелепые, похожие на ритуальные движения и вынув иглу, стал выкалывать котятам глаза. Белокурый же, спрятав личико на нежной груди, покраснев от усилия, пинцетом расчленил птенчика. Молодой же человек в белой рубашке сидел на пеньке и, отпивая сухое вино, плакал.

По всей поляне несся визг животных и урчание людей.

Тоненький так двигал задом, как будто он онанировал.

Приземистый, оторвав одному щенку голову, принялся за другого: он продалбливал ему череп сапожным инструментом.

Белокурый же, озабоченный, так ретиво уничтожал птиц, что кругом — по ветру — носились перья. Всем им это занятие видно приносило огромное наслаждение. Через несколько минут все сумки были опустошены...

Анна зааплодировала.

Двое молодых людей возвращались обратно: позади них была лужа крови и расчленные конечности. Третий же — белокурый,

таинственный, как Моцарт — с радостным визгом носился по поляне, воздевая руки к небу...

Приземистого, когда тот подходил, Федор успел получше разглядеть, Он действительно имел свирепый вид: это было низенькое, крепкое существо лет двадцати пяти, с широкой грудью и длинными, волосатыми руками; кроме выделяющегося непонятно-дегенеративного лица поражал также его отвислый зад.

Тоненький же — его одногодка — наоборот был очень нежного сложения, и к тому же робок и застенчив; он все время краснел и глаза прятал внутрь себя, под лоб, словно они были неземного цвета...

Друг Ани, перестав плакать, неожиданно перешел на разгульно-истерический хохот и ударил палкой приземистого. Тот поджался, как собака.

Аня продолжала о чем-то весело болтать со своим приятелем; подошел Федор.

— А вот и наш коллега. Из самых глубин народа. Этим и интересен, — представила Анна Федора.

Анин друг рассмеялся и похлопал Соннова по животу.

— А я Падов Анатолий, — представился он.

Никогда еще с Федором так не обращались; но его тянуло к этим людям и он молчал, поводя мутным взглядом по затихшей лужайке.

Анна представила и «шутов».

— Пырь, — назвал себя приземистый.

— Иоганн, — назвался тоненький.

В это время подскочил изящный. Сквозь его бледное, красивое лицо виделось его второе личико, изъеденное серой смертью; оно чуть дрожало от наслаждения.

А этот у нас меньшенький, Игоречек. Ему двадцать один годик, — ласково вымолвила Анна и потрепала меньшего по волосам.

Ее друг, Анатолий Падов, — движения у него были быстрые и веселье полное, но нервно-истерическое, — отозвал ее в сторону. Потом, махнув рукой, пошел в лес.

Анна подошла к Федору.

— Толя отдохнул и хочет быть один, — ласково сказала она. — так что, Федор Иванович, пока я вас познакомлю, так сказать с галеркой... И вам ведь, наверное, надо развлечься. Эти как раз пригодятся... Простые ребята. Кстати, нельзя ли взять эту кампанию к вам в дом... На день-два...

— Берите всех... Клавуша дозволит, — прорычал Федор.

И компания двинулась к станции.

Впереди шли Соннов и Аннушка. Садисты трусили чуть позади.

— Неплохо и пообедать, — неторопливо проурчал Пырь.

— А ведь действительно, — обрадовалась Аннушка. — Господа, здесь кажется недалеко есть обвалившийся ресторанчик.

(Федору понравилось, что она называла всех «господами». Видимо это было в обычае.)

Ресторанчик походил на столовую для разведения мух.

— Ничего, зато в тепле и не в обиде. У Бога под крылышком. Так-то, — ворковала Аннушка

Все расселись за липким, безжизненным столом. На Барскую напал стих и она непрерывно болтала. «Девка... Треплива... А ум есть», — отхлебывая суп, вспоминал Федор некоторые Анины высказывания.

— Вы знаете, Федор, — попивая винцо, болтала Анна, — я ведь все-таки женщина и поэтому не всегда думаю о смерти... Сейчас, например, я хочу быть ребенком... Просто ребенком... Шаловливым ребенком на краю вулкана... Вот я вам объясню про Пыря, — и она указала на приземистого. — Он — свой человек... Не смотрите, что у него такие свирепые черты лица, это от размышления... Пырь, покажи петлю.

И Пырь, приоткрыв рваную полу пиджака, робко показал мощную веревочную петлю.

— Видите, как он смущается, — продолжала Анна. — Пырь применяет эту петлю только против людей. Он ненавидит их лютой ненавистью. Однажды в Москве он пришел с этой петлей на утренний киносеанс. Народу почти никого не было и он сел позади жирной, обожравшейся домохозяйки, которые урывают время между очередями в магазинах, чтоб посмотреть картину. Когда погас свет и началась представление, Пырь накинул на ее жирную шею петлю и затянул... Ха-ха... Животное захрипело и стало топать ногами. Пырь почему-то бросил все и незаметно вышел из залы, а животное, хоть и не задохнулось, но совсем одурело от ужаса и непонимания, и, когда Пырь оказался на улице уже подъезжала скорая помощь...

Так за легкой, веселой беседой прошел обед.

Когда шли к станции по широкой, пыльной улице, с низенькими, образующими свой потный мир домиками, Анна сказала, указав на тоненького:

— Иоганн у нас скрипач. Любитель романтической музыки.

Тоненький застеснялся.

— Ну а Игорек, — добавила она, обласкав меньшего, — совсем особая статья.

Федор поворачивал свою грузную голову то к одному, то к другому...

На подходе к Клавиному дому, Аня улыбалась: «сегодня я неплохо отдохнула», — подумала она.

X

К вечеру, после основательной передышки, все высыпали во двор. Со своей половины даже выползли обременные несуществованием Лидиньки — дед Коля и девочка Мила. С ничего не выражающим лицом Мила присела в траве у забора и забормотала. Вокруг нее чирикали птички. Дворик, огражденный высоким забором и домом, был как заброшенный, распадочно-уютный мирок.

Кругом росла полуживая, нагло-чахлая травка; три изрезанных деревца смотрелись как галлюцинации ангелов; по углам торчали скамейки, нелепые бревна с корягами. В центре — замалеванный, искаченный человеческими прикоснованиями стол, опять же со скамейками.

Кто-нибудь посторонний мог бы ожидать, что сейчас начнется взаимное сближение. Все-таки в ресторане все были вместе.

Но вдруг все действия приобрели отсутствующе-разорванный характер. Правда, вся подвернувшаяся живность была мгновенно уничтожена: Иоганн зарезал двух старых, полубродячих кошек, Пырь оторвал голову безобразной, тощей курице. Только Игорек, на долю которого ничего не осталось, носился в одних трусиках и майке за невесть как сюда попавшей бабочкой.

Клава дремала за столом; ей виделись башни с голыми задницами на шпилях; Федор сидел против нее и, осиротев от самого себя, понемножечку пил водку.

Дед Коля, приютившийся на бревне, почему-то занялся шитьем; девочка Мила так и уснула в том углу, где бормотала. Петеньки же как всегда не было видно.

Анна созерцала эту картину из окна своей комнаты и внутренне хохотала. Наконец, она не выдержала и вдруг от охватившего ее внезапного, беспредметного страха, бросилась на кровать и заснула.

Между тем во дворе обособленность все сгущалась. Белокурый Игорек, не поймав бабочку, так ушел в себя, присев у забора, что по инерции стал щипать свои красивые, нежные ноги. Когда же

он очнулся от дремы и увидел, что щиплет себя, тихие, смрадные слезы потекли из его светлых глаз.

Пырь тренировался, бросая большой топор в дерево. Иоганн, скрючившись, вынул из кармана коробочку с жучками и стал иголкой препарировать их, разделяя на части. «Золотые руки» говорили про него. Он делал это так, как будто разбирал стихи, написанные на древнем языке.

Все застыло в таком одичании.

Прошло час или два. Вдруг тишину нарушил истерический визг деда Коли, раздавшийся из закоулка за сараем.

Все разом вздрогнули, но не сразу очнулись. И только когда визг превратился в вой, медленно, нехотя все стали вставать со своих мест. Все, кроме Клавы, Пыря и деда Коли, которых не было видно. Даже Анна проснулась и вышла во двор.

Первый подошел к закоулку за сараем Федор и увидел такую картину. Клавушка, распахнувшись как жаба, не то от страха, не то от недоумения, дрыгалась на земле, а шея ее была в петле, которую крепко держал Пырь. «Поймал, поймал», — металлическим голосом повторял он. Дед Коля, от непонятности вспрыгнувший на забор, выл своим нелепым полу-бабьим, полу-волчьим голосом.

Федор, не сообразив что происходит, тем не менее отпугнул Пыря и тот выпустил петлю. Клава была жива и даже не очень придушена, но от непостижимости она все еще не вставала с земли и виляла жирными ляжками.

Когда все сбежались, Анна дала Пырю пощечину.

— Я ненароком, ненароком, — испуганно-бычьи бормотал он. — Она просто подвернулась... Шея такая жирная, белая... Мысли сами собой петлю накинули...

Клава приподнялась и набросилась на Пыря:

— Ты ведь играл, играл!!? — спросила она.

Ей стало так страшно при мысли о том, что Пырь мог в действительности задушить ее, что она гнала самую эту мысль, вообразив, что Пырь всего-навсего хотел с ней поиграть, как дите. «Не может так быть, чтобы что-то несло мне смерть», — взвизгнуло у нее где-то в животе.

— Играл, играл, — тупо поддакивал Пырь.

Федор посмотрел на него.

— Ничего, Клав, он остынет, — сказал Федор, положив свою тяжелую руку на голову Пыря.

Клавуша так настаивала на том, что все это было только забавой, так жалась горлом от страха при противоположной

мысли, что все как-то, без лишних углублений, согласились с этим.

Клава даже, для сближения, похабно похлопала Пыря по отвислой заднице. (Будто бы человек, к которому испытываешь половое чувство не может тебя убить). Чтоб сгладить ерунду, решили выпить.

Присели у какого-то маленького столика в закутке, сбоку дома, чтоб поуютней. Рядом как раз валялась расчлененная Иоганном бродячая кошка.

— Для чего вы их убиваете?! Чего ищите?! — крякнув, спросил Федор.

— Ничего не ищем.

— Как ничего не ищите?!

— Мы получаем удовольствие... И ничего больше... Наслаждение... Наслаждение, — вдруг разом заголосили все трое садистиков: Пырь, Иоганн и Игорек. Они сидели рядышком, по росту, и глаза их блестели в собирающейся тьме. У Игорька даже щечки порозовели, как у девушки.

— А в чем наслаждение?

— Во многом, во многом... Тут нюансы есть... Во-первых, ненависть к счастью, но это другое... — вдруг заспешил Игорек, выпив рюмку водки. Его лицо стало еще более прекрасным, а ручки дрожали от превкушений. — Потом: они живые, а мы их — рраз умерщвляем... Нету их... Значит мы, в некотором роде боги...

У всех троих оживились личики и точно появились невидимые короны. Иоганн вдруг встал и пошел за скрипкой: у Клавы она валялась где-то в закутке, неизвестно чья. Вскоре послышались трогательные, сентиментальные звуки. Скрючившись, Иоганн играл на ступенькая черного хода...

Пора была уже ночевничать, в новую форму отъединенности.

— Всех, всех пристроим, — ворковала, довольная своим брюхом, Клава.

— Пырь, все-таки лучше бы ты поехал домой, — сказала Анна.

— Почему, почему же?! — пухло вмешалась Клава.

Но Пырь послушно направился к выходу.

— Я еще с ним пересплю, в постельке. Даром, что он меня вешал, — пискнула Клава и подскович, потрепала Пыря по обеим мясистым щекам.

А на следующий день ситуация резко изменилась. До Клавы дошел слушок, что Федору грозят какие-то мелкие неприятности от местных властей. Слушок был мутный, неопределенный, но чуть тревожный. На этот раз Федор решил уехать. Прихватив немного

деньжищ, он, чмокнув на прощанье Клавушу в задницу, исчез.

— Пусть побродит... по Рассеи, — подумала Клава.

Вечером из всего шумного общества в Клавином доме осталась только Барская, Аня.

Так и не повидал пока Федор Аниных настоящих людей.

XI

Опустело покатились дни в Клавином доме. Клавуша водицей побрызгается, иной раз живого, полуворованного гусенка внутрь себя засунет... «Без удовольствия нельзя... Состаришься», — подумает мельком, отдыхаючи на перинке и посматривая в потолок.

Дед Коля после работы шатается: мух ловит. Мила цветочки на помойках собирает.

Одна Аня где-то пропадала.

Но однажды Барская зашла в Клавину комнату, к хозяйке: «Клавдия Ивановна, несчастье тут, у одного моего старого знакомого — Христофорова... Отец чуть не помирает...» И Она рассказала, что Христофоровы — отец и сын — попали сейчас в плохие условия, что старик — чистый, но болеет какой-то внутренней болезнью, и ему необходим свежий воздух и перемена обстановки.

— Нельзя ли на время привезти его сюда... во вторую нижнюю комнату... вместе с сыном, чтоб ухаживал, — сказала Анна и вдруг добавила: «не думайте, он мне не любовник, просто очень старое знакомство с его семьей»

Клавушка — к Аниному удивлению — согласилась.

— Вези, Ануля, вези их, — проговорила Клава, — я ведь жалостливая... Гуся и то вон жалею...

И она кивнула на жирного, ошалевшего гусенка, у которого клюв был слегка перетянут бинтом, чтоб он не мог особенно щипаться...

На следующий день Анна привезла сюда, к Клаве, беленького, седого старичка с его двадцатисемилетним сыном.

Старичок был настолько благостным, что прямо-таки растворял все окружающее в любви; седые волосы окружали его голову точно ореол смирения и тишины; а маленькие, глубоко запрятанные глазки светились таким трогательным умилением, будто он не умирал, а наоборот воскресал.

В определенных кругах старичок — Андрей Никитич — считался учителем жизни.

Он шел одной рукой опираясь на своего сына — Алексея Христофорова, другой — на палку, похожую на старую трость, которой он иногда с такой умильностью постукивал по земле, словно она была его матерью.

Остановившись перед крыльцом, старичок тихо заплакал. Клавуша быстро, как цыпленка, подхватила его под руки и прямо-таки внесла в комнату, где ему была уже приготовлена постель.

Потом, когда старика уложили, его было захотели накормить, но Андрей Никитич воспротивился:

— Ведь на свете, кроме меня, есть много других несчастных и голодных людей, — произнес он...

В закуточке, у того столика, где недавно пьянствовали садистики, Клава разговорилась с Алексеем и Анной.

— Не беспокойтесь, Клавдия Ивановна, — волновался Алеша, — я буду ухаживать, а Аня уже договорилась с медсестрой...

— Медсестра у нас ничего, — проговорила Клава, — только отчего-то любит спать в лопухах...

— Вы преувеличиваете, Клавдия Ивановна, — вмешалась Аня, беспокойно взглянув на Алешу.

Но тот пропустил Клавино выражение мимо ушей и весь сиял доброжелательством, оттого что пристроили отца на воздухе. Его астеническая фигура выражала такое удовлетворение, точно он возносился в хорошее место...

Ввечеру все собрались в комнате старичка. Из соседей приплелся дед Коля, но почему-то сконфузившись, хотел было спрятаться под стол.

Андрею Никитичу было уже значительно лучше и он, приспособившись в мягкой, уютной постельке, вдруг стал поучать:

— Жизнь очень проста и Бог тоже очень прост, — выпалил он. — Посмотрите на этих людей, — Андрей Никитич махнул изящной, беленькой ручкой в окно, — они не думают о смерти, потому что видят ее каждый день, когда косят траву или режут животных; они знают, что смерть — это такой же закон Бога и жизни, как и принятие пищи, поэтому они не удивляются, как мы, когда начинают помирать... Вот у кого надо учиться!

И Андрей Никитич несколько победоносно взглянул на окружающих; благость, правда, оставалась, но на дне глаз вдруг обнаружилось страстное, эгоистическое желание жить; чувствовалось, что старичок хочет крайне упростить смерть в своих глазах, чтобы сделать ее более приемлемой, и не такой страшной.

— Только любовь — закон жизни, — начал он опять. — Любите ближних и вам нечего будет бояться.

Клава даже не поняла о чем идет речь; она взгрустнула, вспомнив о Федоре: «Кого-то он теперь душит, голубчик... Вот дите», — вздохнула она про себя.

Аня вскоре ушла.

— Я знаю христианское учение с трудом дается людям, — продолжал болтать старичок, не обращая ни на кого внимания. — Истина — это не сладкая водичка...

На следующий день утром — Алеша только еще проснулся — Андрей Никитич уже сидел на постели.

Ты что, папа?! — спросил Алексей.

— Уеду я, сынок, отсюда, — ответил старик. — Нету в этом доме любви. Пойду к маленьким, седым старичкам в монастырь... На край света... Нету здесь любви...

— Да что ты, отец, — так и подскочил Алеша. — Как же здесь нет любви?! ...А Анечка!? Сколько она нам сделала добра?! Ты же знаешь мое к ней отношение... И потом она говорила, что Клавдия Ивановна — очаровательный, тонкий человек. Анечка только очень жалела, что уехал ее брат Федор.

Андрей Никитич не отвечал; наступила полная тишина, во время которой он — скрючившись — застыл на постели.

Наконец, старичок прервал молчание.

— Я не поеду только потому, — улыбнулся он, — что на свете не может быть полностью злых людей. В каждом есть частица добра, которую можно разбудить...

И старичок погрузился в свои размышления о Боге; когда он думал о Боге, то придавал своим мыслям такой благостный, умилительный характер, что весь мир, все существующее принимало в его мыслях умильный, сглаживающий и доброжелательный вид. Бог тоже внутри него принимал такой вид. При таком Боге можно было спокойно умереть. И старику становилось легче: умиление распространялось до самых глубин его души, которая становилась мягкой, как вата.

Вечером Андрею Никитичу опять стало худо.

Алексей и Анна были около него. Клавуша то входила, то выходила.

Лицо Андрея Никитича словно все растворилось в жалобе; он задыхался. Какая-то большая, черная муха села ему на нос. Алеша хотел было ее согнать, но старичок плаксиво возразил:

— Не убивай, Алеша... Она тоже хочет жить... Не трогай.

Он так и пролежал некоторое время с предсмертными хрипами и мухой на носу.

— Полотенце ему на глаза надо повязать, — высказалась Клавуша на ушко Анне. — Полотенце.

Между тем пришел врач; потом свистнув, скрылся; но в положении старика ничего не изменилось; сам он считал, что почти умирает. Главная его забота была, чтоб умереть ладненько, с хорошими мыслями, с умилением в душе и не дай Бог, чтоб кого-нибудь обидеть.

— Я вас не толкнул?! — взвизгнув, обратился он вдруг, чуть не плача, к вошедшему деду Коле.

Тот мгновенно спрятался за дверь.

...Неожиданно старичка очень остро кольнуло в сердце и ему почудилось, что оно вот-вот разорвется. Он испуганно взглянул на Клаву и среди мертвой тишины пробормотал:

— Вы меня любите!? Ах, как мне надо, чтоб меня любили!!

У Анны он вызывал приток скрытой злобы. Ей казалось, что в момент смерти лицо его сделается совсем добреньким и благодушным. «Как ребенок, которому страшно пред жизнью, пред темнотой, — раздражалась она про себя, — и который думает, что если он будет хороший, послушный, то несчастье обойдет его, и все будут его гладить по головке, и весь мир тогда сделается милым и ручным. И все собаки перестанут лаять, оттого что Вова такой добрый мальчик. И сама смерть прослезится». Ей было обидно за мир, за тот темный, жестокий и таинственный мир, который она знала и любила.

Между тем старичок действительно хотел как бы задобрить в своем уме смерть; он действительно полагал, что если он будет очень добрым и человеколюбивым, то и смерть появится перед ним в виде этакого доброго, простого и ясного малого. И поэтому она не будет так ужасна для него. Он даже чуть капризничал, временами дуясь оттого, что смерть — такая простая и ясная — все еще не идет к нему. Любовью к Богу и жизни он стремился смыть, заглушить свой подспудный страх перед смертью и потусторонним. Этой любовью он подсознательно хотел преобразить в своем представлении мир, сделать его менее страшным. Он дошел до того, что не обрадовался, когда внезапно ему опять полегчало, а напротив захотел, чтоб продлилось это умиление, от которого на душе было так мягко и святочно и которое приручало близкую смерть.

Впрочем, когда ему совсем облегчилось, он вдруг, на миг ожи-

вившись, не приподнимая головы с подушки, осмотрел всех своим остреньким, пронзительным взглядом и промолвил:

— Любовь к мухе предвосхищает любовь к Господу...

От удивления все раскрыли рты, а Андрей Никитич неожиданно попросил Алексея, чтоб тот записывал его мысли...

Осуществить это не удалось, потому что старичку снова стало хуже. От этих переходов он не знал умирает он или выздоравливает.

Еще раз он внимательно вгляделся в окружающих. Лицо Клавы млело в своей пухлости. Ясные глаза опять появившегося деда Коли смотрели на него из чуть приоткрытого шкафа.

Вдруг Андрей Никитич метнулся на постели к ближайшему окну.

— Где люди... люди?! — закричал он.

— Вы любите людей?! — подошедши промолвила Клава и пред глазами старика вдруг застыло ее мертвеюще-сладострастное лицо.

XII

На следующее утро Андрей Никитич как ни в чем не бывало сидел на своей кровати и поучал Алексея.

К обеду он опять так ослаб, что прослезился. И начал вспоминать и жалеть всех несчастных, какие только приходили ему на ум; «надо любить, любить людей», — повторял он, относясь с любовью к другим, он забывал о себе — и как бы снимал с себя бремя существования и бездонность любви к себе; ведь страшно было бы дрожать все время за себя — так или иначе «обреченного» — и любовь к людям убаюкивала его, отвлекала и погружала сознание в сладкий туман; к тому же она была почти безопасна — ведь гибель этих любимых внутренне людей вполне переносилась, не то что приближение собственного конца.

Позже, после прихода врача, Андрей Никитич совсем приободрился; он встал и решил погулять по двору; дом между тем опустел: все разбрелись по делам; оставались только Клава да Петенька, который чтоб вволю наскрестись, забрался на дерево.

Постукивая палочкой, старичок плелся по двору, погруженный, как в облака, в мысли о любви; присел на скамеечку.

Неожиданно перед ним появилась Клавуша.

— Скучаете, Андрей Никитич? — спросила она.

— Не скучаю, а о Господе думаю, — поправил старик, впрочем доброжелательно.

Клава вдруг потрепала его по шее и присела рядом. Широко улыбаясь, она, оборотив на старика свой круглый, как луна, лик, вглядывалась в его маленькие, добрые глазки.

— Вы хотите что-то сказать, Клавдия Ивановна? — беспокойно спросил старичок.

Клавуша, по-прежнему глядя на него, не ответила, а вдруг запела, что-то свое, дикое и нелепое.

Помолчав, Андрей Никитич сказал, что Бог и любовь — это одно и тоже.

Не кончая петь, Клавушка своей пухлой ладошкой внезапно начала ловко и сладострастно похлопывать по заднице старичка.

Андрей Никитич так и примерз к скамейке.

— Ничего страшного, если вы помрете, Андрей Никитич, — проговорила Клавуша, наклонившись к его старому рту грудями и дыхнув в лицо. — Приходите ко мне после смерти-то! Прям в постельку!! Костлявенькой!! — и она чуть ущипнула его в бок. — И Господу от меня привет передайте... Люблю я его, — и она лиз- нула своим мягким языком старческое ушко.

Андрей Никитич совсем онемел; он молчал, а Клавуша между тем утробно дышала.

— Вы сумасшедшая! — первое, что произнес, вернее пискнул, старик, когда чуть очнулся.

— Это почему же, милай, — проурчала Клавуша, похабно облапив Андрея Никитича ниже талии. — Я не сумасшедшая, я — сдобная. Ну тебя!

— Оставьте меня, оставьте! — прокричал старичок, весь покраснев. Он выскользнул из Клавиных лап, вскочил со скамейки, — оставьте меня... Я просто хочу жить... жить... Я не хочу умирать...

— Так после смерти самая жизнь и есть, — убежденно проговорила Клавуша, развалясь в самой себе телом.

Она хотела сказать что-то большее, но старичок вдруг сорвался с места и побежал, рысцой, топ-топ ножками — к крыльцу и юркнул в свою комнату. Там он заперся на ключ и отдышался. Клавуша между тем, не обратив на его исчезновение никакого внимания, выползла на середку двора и обнажив свои свинячьи телеса, развалилась на травке, покатываясь, подставляя лучам еще не зашедшего солнца свое мирообъемлющее брюхо... Близ нее лежал Петенька: чесавшись, он так забылся, что упал с веток...

Тем временем, отдохнувши в комнате, Андрей Никитич сначала

нашел, что надо срочно отсюда уезжать. Но потом ему сделалось так плохо, что он испугался куда-нибудь двигаться и решил повременить, думая только о том, как бы отвести от себя приступ. «Ведь только что мне было совсем хорошо, я чудом выздоравливал», — застревал он на одной мысли.

Пришел Алексей и старичок, обеспокоенный только за свое здоровье, как бы забыл о происшествии с Клавой, наказав только Алексею попросить, чтоб хозяйка не волновала его. В глубине души ему даже польстило, что Клава облапила его и полезла как к мужчине — так расценил он Клавины действия. («Значит я еще живой-с», — подумал он.)

Клавуша, как ни в чем не бывало, заходила к нему в этот вечер, даже когда он был один. Сидела на стуле и луща семечки, молча смотрела в окно, болтая ногами.

А ночью, когда все спали, старичку, ушедшему душой в неизвестную тьму, действительно стало плохо, особенно умом. От испуга он даже приподнялся на постели. Не то чтобы он уже умирал, но его вдруг охватил ужас, что все равно он скоро умрет и от этого никуда не денешься. И еще он почувствовал, что внутри его растет какое-то чудовище, которое сметает все его прежние доводы разума о смерти, и оголяет его перед самим собой. От ужаса он даже заверещал во тьме, как хрюкает, наверное, свинья-оборотень перед ножом. Это чудовище было его второе внутреннее существо, которое иногда виделось в нем раньше, в глубине его ласковых, христианских глаз — существо, которое упрямо хотело жить и жить, несмотря ни на что, и которое проснулось в нем теперь с неистовой яростью.

Оно требовало даже дать простой ответ на вопрос: что будет с ним после смерти?

Старичок вдруг осознал, что его вовсе не интересует есть ли Бог и любовь или их нет, что это — как и все другие хитросплетения сердца и разума — вовсе не имеет к нему никакого отношения, а его тревожит и действительно интересует только своя судьба и ему нужно знать, что будет с ним потом. В раздражении он даже стукнул кулачком по столику, как будто от этого зависел ответ на такой жуткий вопрос. В этом страшном одиночестве перед лицом смерти и самого себя все его идеи о Боге и любви рассыпались, как карточный домик. Его второе существо злобно и настойчиво выло и добивалось ответа на вопрос: что будет, что будет?!

Тогда, обливаясь потом, обхватив голову одной рукой, старик

собрал воедино все силы своего сознания и стал прикидывать, чуть ли не на пальцах.

Он начал разбирать все мыслимые варианты, какие только могут случиться с человеком после смерти.

«Первое, — подумал он, загнув большой пальчик и шарахаясь от собственных мыслей, как от чумы, — я навсегда превращусь в ничто; второе — я попаду в загробный мир; но тут же сразу вопрос — вечен он или это просто оттяжка неизбежной гители; что вообще будет потом, после загробной жизни?! ...Но не надо заглядывать дальше — взвизгнул старик. — Я хочу только понять, что будет сразу после смерти... А там видно будет... — на минуту он остановился, застыв со своими мыслями, воткнув взгляд в темную вешалку с пустыми платьями, — но в иной жизни, — продолжал он лихорадочно думать — могут быть свои случаи. Жизнь там будет продолжением в другой форме моей жизни здесь. Это здорово, — утробно пискнул он. ». Я превращусь в существо, не знающее о своей прежней жизни и не связанное с ней, но все же в существо более или менее приличное, мыслимое и даже чем-то похожее на меня. Хи-хи-хи.

Третье — я превращусь вообще в нечто неосмысленное и непонятное моему уму сейчас; в какую-нибудь закорючку. Хо-хо-хо».

Старик опять застрял; эти мысли, которые сопровождались картинами, проносившимися в его воображении, то пугали его, то наоборот науськивали на продолжение жизни; он то обливался потом, то икал.

Потом мысль его снова заработала с необычайной быстротой.

«Наконец, другой вариант, — продолжал он думать, — превращения, переселения душ; сразу после смерти или после загробной жизни я окажусь опять в этом мире... Предположим, в этом мире, а не в иных, так легче представить... Тут могут быть свои под-варианты. № 1. Я останусь на том же самом месте, самим собой, как в вечном круге. 2. Я вновь рождаюсь в другом теле достойным человеком, продолжателем моих теперешних дел; это очень хорошо, логично и выгодно, — старик тихо во тьме погладил свою ляжку. — 3. Я стану человеком, который не будет продолжателем моей теперешней сущности, но все же будет достоин меня... или... я превращусь в ничтожного человека... в полуидиота, — старик ахнул от страха, — а может быть в животное... в индюшку... в лепесток...»

Старик замер; душа его опустилась перед раскрывающейся бездной.

Потом он опять зашевелился и как окостенев, заглянул в окно; большая желтая луна висела над землей в ночной пустоте.

С его душой происходило нечто необычайное и быстрое; вся прежняя, многолетняя благость и доброта спадали с его лица и оно становилось до безумия жалким, отчужденным и трусливо-потерянным, а моментами даже злобным.

Почему-то из всех случаев послесмертной жизни ему лезли в голову самые поганые.

Он так ошалел от страха, что вдруг вынул из-под подушки шашки и стал сам с собой разыгрывать партию — рядом, на ночном столике, кряхтя и отхаркиваясь. Но какие-то призраки все время одолевали его; ему казалось, что из угла кто-то выходит, высокий и большой, и строго грозит ему пальцем; наконец, он ошалело отвалил голову на подушку, всматриваясь широко открытыми, оцепеневшими глазами в раздвигающуюся тьму...

А на утро, после сна, произошло что-то совсем несусветное и дикое; соскочив с постели в одном нижнем белье Андрей Никитич заявил, что он умер и превратился в курицу. С необычайной для его болезни резвостью он поскакал во двор, размахивая руками и надрывно крича: «Кура я, кура... ко-ко-ко... Кура я, кура!»

Сначала никто не принял все это всерьез, хотя многие застыли. Подошедший к тому времени врач, прощупав пульс и выслушав тело старичка, сказал, что опасность миновала, кризис кончился и Андрей Никитич идут на поправку и что он — врач — очень поражен этим... Старичок же упорно молчал.

А за завтраком — во дворе — все были потрясены: Андрей Никитич соскочил со стула и махая руками, как крыльями, с воплями «ко-кок-ко» бросился к зерну, которое клевали несколько куриц. Распугав кур, он встал на четвереньки и начал как бы клевать зерно. Тут же подбежал Алексей; старичок приподнял лицо и Алеша ахнул: это уже был не Андрей Никитич.

От прежней доброты и других христианских атрибутов не осталось и следа; на Алешу глядело совершенно другое, новое существо; лицо его заострилось и приобрело мертвенный, восковой оттенок; маленькие глазки глядели злобно и недоверчиво.

Чувствовалось, что Андрей Никитич внутренне порывается прыгнуть на четвереньках в сторону, как прыгнула бы курица в его положении, но не делает этого только из-за отсутствия опыта.

— Ну что вы, отец? — пробормотал Алексей и, взяв его, сразу осевшего, под руки, подвел к обеденному столику.

Странно было, что старичок совсем ничего не говорил по-человечески, кроме давешних слов, что он курица.

— Наступает пора превращений, — злобно произнесла Анна чьи-то предсмертные слова.

Днем старик совсем околдовал своим поведением всех окружающих; дед Коля ушел от него в баню; Клавуша же схватила было на него метлу, настолько старичок убедил ее, что он — курица; широко расширенные глаза Милы смотрели на него с чердака; впрочем девочке казалось, что вместо Андрея Никитича по двору носится колесо.

Один Алеша пытался завязать с отцом разговор. Он поймал его, когда старичок, спрыгнув с забора, сидел верхом на пне.

— Рассуди философски, папа, — увещевал его Алексей, присев на травку, — ты твердишь всем, что ты курица, значит ты это сознаешь; ты мыслишь; следовательно ты мыслящее существо, а никак не курица. Курицы не рассуждают.

Но Андрей Никитич глядел на него пугающе недоверчиво; почти зверем. И вместо того, чтобы возразить сыну логически, прыгнул на него с криками: «Ко-ко-ко!» и пытался заклевать его носом.

Клава разняла возившихся людей. Было такое впечатление, что Андрей Никитич не узнал собственного сына.

На второй день такого нелепого поведения Алексей совсем расстроился.

— Ну что с ним теперь делать?! — изумленно спросил он у Клавы.

— А не прикидывается ли он? — вмешался подслушивающий дед Коля и осторожно повел большими ушами.

— Не звать же психиатра, — после некоторого молчания сказала Анна.

— Глупости, — бросила Клава. — Будем запирать его на день в сарай, чтоб не прыгал по заборам и не расшибся. Небось остынет.

И она пошла в дом, облапив подвернувшийся столб. Андрей Никитич же очутился в сарае.

XIII

Вечером Алексей пришел к Анне в комнату чуть не со слезами.

В той среде, к которой принадлежала Анна, жизнь и метафизика означали одно и то же; жить значило пропитать своим потусторонним видимую жизнь; поэтому любовь здесь не раз сливалась с признанием внутреннего мира и последнее не было простой добавкой к любви, молчаливым соглашением.

Алеша не принадлежал полностью к этой среде; он тянулся к ней и одновременно страшился ее; но он был влюблен — долго и безответно — в Анну, влюблен частью из-за ее загадочности и принадлежности к этой темной, иррациональной среде.

Сегодня, кроме того, он хотел доказать в лице Анны всем этим странным, взявшим на себя слишком многое, людям, что твердая вера в Бога по-прежнему является единственной крепостью человека посреди всего этого метафизического хаоса, среди этого листопада смертей, нелепых машин и вывердченных мозгов.

Этим он хотел и укрепить свою веру и поднять себя в глазах Анны. В конце концов больше любви ему важно было признание. Признание своей ценности.

Поэтому, к тому же взвинченный идиотским превращением отца в курицу, он сразу же начал с Бога, с необходимости веры в Него и даже с целесообразности.

Анна, погладив себя по оголенной ножке, отвечала на этот раз резко и даже озлобленно. Ее ноздри чуть раздулись, а глаза блестели от охватившего ее чувства самобытия и сопротивления — сопротивления этим идеям.

Она говорила о том, почему ей не нравятся обычные религиозные системы: они исчерпаны и ставят предел метафизической свободе, в то время как дух уже давно вырвался в новую, неведомую сферу; более древний эзотеризм притягательнее сейчас, так как он предполагает большую свободу исследований и метафизических путешествий; нужен другой способ проникновения в потустороннее...

— Наконец, обычные религии слишком односторонни, — взорвалась Анна, — в то время как в метафизике нужен сейчас радикальный переворот, вплоть до уничтожения старых понятий и появления новых — может быть еще более «абсурдных» — но тем не менее символизирующих наше состояние духа; и именно она — сама метафизика, сама религия — должна сделать этот переворот... потому что все иные, прошлые перевороты не относились к делу, так как подменяли метафизические ценности понятиями из несравнимо более низких областей, и таким образом замена была нелепа и вела только к отрицательным последствиям... Нужен таким образом подлинно религиозный катаклизм, — опять воспалилась она, — ...мир расширяется и наше метафизическое предчувствие вместе с ним; современные религии способны только сужать наше представление о мире, ибо это лишь искаженные тени некогда великих религий...

Алексей был совершенно подавлен и растерян; интеллектуально

его наиболее ущемили слова о пределе метафизической свободы; эмоционально — упоминание о том, что сильные духом, мол, пускаются в неизвестное, страшное, потустороннее плаванье.

Но он все же вдруг возразил:

— Итак, вы говорите, что это искаженный путь, профанация, что ключи к истинному христианству потеряны... Почти... Даже значения слов сейчас уже не те, какие были тогда... Но что, если ключи будут снова найдены... Пусть среди немногих...

— Тогда, конечно, иное дело, — как-то спокойно ответила Анна. — Но интуитивно я чувствую, что это — не для меня. Как другие наши — не знаю... Хотя почему «нет», может быть... Относительно некоторых... Все настолько чудовищно и запутано, до невероятия...

Где-то в окне появилось ничего не выражающее лицо Милы с широко раскрытыми глазами. На что она смотрела? ...Алеша сидел в углу у печки; Анна же чуть возбужденно ходила по комнате; выл ветер... за стеной пела свои нелепые песни Клава.

— Ты целиком на стороне Падова и его друга Ремина... И этого кошмарного Извицкого... — пробормотал Алексей.

Анна пропустила его слова; закурив, она молча смотрела в окно, в котором уже исчезло отсутствующее лицо Милы.

— Ну, хорошо, — опять собрался с духом Алеша, — пусть многое закрыто для нас... Лишь малая часть всего, высшего, сказана людям, да и та плохо понята...Но Бога, Бога-то вы куда денете?.. Я говорю сейчас не о Боге определенных религий, а о том, неведомом?!

— Бога! — произнесла Анна. — Ну что ж я могу сказать тебе о Боге.

— Нет, ты ответь, почему ты... именно ты... вне этого, а не вообще! — вскричал Алексей.

— Бог это, конечно, нечто другое — начала говорить точно сама с собой Анна, у которой на душе вдруг стало спокойно. Сбросив туфли, она калачиком устроилась на диване. Слышно было как во дворе редко, но пронзительно кричит дед Коля, обращаясь к сараю, где второй час кудахтал Андрей Никитич.

— Вообще, — продолжала Анна, — если забыть некоторые прежние атрибуты Бога, особенно такие, как милосердие, благость, и тому подобные, и поставить на их место другие, жуткие, взятые из нашей теперешней жизни, то есть из реального действия Бога, то может получиться такой Бог... с которым интересно было бы как-то встретиться на том свете... Может быть нечто грандиозное, чудовищное... Совсем иной Бог, который

если и снился нашим прежним искателям истины, то только в кошмарных снах.

— Дьявол, а не Бог. Вот какой замены вы хотите, — выдавил из себя Алексей.

— Мы не хотим, а видим, — отвечала Анна. — Бог, но другой... Уже по-иному непостижимый... Цели которого полностью скрыты от человечества... Не связанный с моралью.

— Одно голое сатанинство, — с отвращением проговорил Алеша.

— Но в конце концов лучше переход от идеи Бога к дальнейшему... Лучше абсолютная трансцендентность, — добавила Анна. — Или еще более...

— Уж не Глубев ли с его тотатльным бредом в качестве новой религии?! С его религией Я?!

— Не знаю, не знаю... Мы пока ищем...

— У Глубева хоть есть его бред, — взвизгнул Алеша, — а у вас ничего нет... Кроме отчаяния!

Анна даже расхохоталась.

— А что есть у вас, современных верующих? — ответила она. — Маленький слабоумный метафизический комфорт... Пародия на золотой сон... Лаборатория для создания хорошего душевного настроения... Бессмертие ничтожеств... Да пойми ты, Алеша, — спохватилась она, не желая его обидеть. — Нам нужно право на поиск. Пусть даже перед поиском будет великое падение.

— Великое падение, в котором, разумеется, находитесь ты, Падов, Ремин и Извицкий, — прервал Алеша.

— Что ты все переходишь на личности? — произнесла Анна. — Мы же говорим об идеях... Пусть даже не мы участники этого великого падения, хотя я уверена, что мы... Пусть другие, неважно... Но за великой катастрофой взойдет новая вера... Может быть, даже Глубев — (Алеша злобно расхохотался). — Может другое... Не знаю...

— Это все падовщина, падовщина, — исступленно бормотал Алексей. — Но ответь мне наконец, ответь, что тебя, именно тебя... так отдаляет от Бога!?

— Если Бог — нечто, что вне «я», то отвечу тебе: бездонная любовь к себе... Кроме того, мне не нравится, когда на ту силу, которую ты назвал Богом, пытаются надеть белый намордник, как это делаете вы, — чуть устало ответила Анна и пересела на стул. — Потом я люблю этот таинственный, черный мир, куда мы заброшены, — проговорила она словно размышляя вслух, — а само понятие о Боге — это уже что-то данное, мешающее край-

нему, отчужденному от всего человеческого, поиску в трансцендентном... Кроме того, я ощущаю мир, как игру чудовищных, отделенных, потусторонних сил... Бог — это очень скромно для моего мироощущения... Нам надо сверхтайны, свободы, даже бреда — метафизического.

— За бессмертие души-то вы все цепко держитесь, — прервал Алеша. — Дрожите за свое «я»... А Бог уже вам стал ненужен... Или превращаете Его как делает Падов, в какое-то непостижимое чудовище... Чтобы пугать им друг друга...

Но в это время дверь настежь распахнулась и в комнату кубарем влетел вырвавшийся из сарая Андрей Никитич.

— Кудах-та-тах! Кудах-тах-тах! — прокричал он, вскочив на стол и топнув ножкой.

За дверью между тем показалась темная фигура деда Коли с огромным ножом в руках. Возможно, он уже принимал Андрея Никитича за курицу.

— Папа!.. Как так можно! — вскричал Алексей.

Но Андрей Никитич, кудахнув, выпрыгнул в окно.

Тяжелый религиозный разговор таким образом очень неожиданно и своевременно разрядился.

Алеша, правда, вне себя, не заметив Колиного ножа, выскочил во двор.

Остаток вечера прошел в каких-то хлопотах.

Андрея Никитича прибрали, хотя он невыносимо молчал, напоили бромом.

Алеша должен был уезжать с поздним поездом в Москву по срочным делам, на несколько дней. Клава и Анна согласились на это время присматривать за стариком.

XIV

По вымороченным, безлюдным и с людьми улочкам местечка Лебединое бежал интеллигентного вида, но с судорожным, стремящимся от самого себя, лицом, молодой человек лет двадцати восьми. Обыватели провожали его тупым одинаковым взглядом.

А он то и дело подпрыгивал и дико вопил, поднимая руки к небу.

В небе ему виделось огромное, черное пятно, которое, как он полагал, было адекватно непознаваемому в его душе. Поэтому молодой человек так выл.

Извилистыми переулками через разбросанные помои он прибли-

жался к дому Сонновых, на ходу, мельком, всматриваясь в названия улиц.

В его кармане лежало письмо от Анны:

«Толя... приезжай сюда, ко мне... Здесь русское, кондовое, народно-дремучее мракобесие, которое я тут открыла, смешается с нашим, «интеллигентским» мистицизмом... Это будет великий синтез... Который ждали уже давно... Сюда, во тьму, подальше от наглого дыма видимости...»

Молодой человек был, конечно, знаменитый Анатолий Падов. У него было худое, с угрюмым, воспаленным взглядом, лицо; тяжесть кошмаров на нем совсем подавляла любое другое выражение; виднелась небольшая лысина; говорили, что Падов полысел от страха перед загробной жизнью.

Между тем пятно в небе преследовало его; он не мог отвести от него глаз, так странно связал он свое внутреннее с этим пятном; он чувствовал, что это пятно — отделившаяся непознаваемость его души.

Падов остановился и присел. И вдруг расхохотался. Истерично, словно удовлетворяясь своим страхом и даже любуясь им.

Что же так выбило его из колеи?

Обычно он жил саморазрушением, нередко смешанным с безумным страхом перед загробной жизнью и потусторонним. Этот страх заставлял его выдвигать бредовые гипотезы о послесмертном существовании, одну бредовее другой. Порой казалось, что он спасался от реального страха перед смертью или неизвестным тем, что еще более разжигал этот страх в себе, разжигал до исполинских размеров, подтапливая его бредком и точно готовый сгореть в этом бреду.

Нечего и говорить о том, что ко всем религиозно-философским идеям и системам, даже казалось и самым близким ему, он относился с утробным негативизмом.

Все, что было «не-я» вызывало у него какое-то подспудное, ярое отталкивание; его тревожный, искореженный ум сторонился даже самых родных ему миров и в них находя что-то от «не-я»; но поскольку эти миры и идеи как-то входили в его «я», его безумство нередко носило характер саморазрушения; даже к своему собственному, чистому «я» он мог относиться с беспокойством, точно и оно было с подвохом или подмененное. Теперь можно представить, какое у него было отношение к миру, если даже к своему единственному, любимому «я» он мог порой относиться с истерическим негативизмом.

Таким был Анатолий Падов.

Однако ж, кроме всего этого, им иногда овладевал какой-нибудь совершенно специфический кошмарик, точно поганенький чертик вылезал из общей дьявольской стены. Так было и сейчас. Правда, его уже давно преследовала идея «вещи в себе» или той стороны мира, которая в принципе недоступна познанию; в его душе, еще в детстве, когда он впервые услышал об этом, что-то дрогнуло и надломилось. Метафизическое, овладев его воображением, всегда становилось грозным и непосредственным по силе воздействия, не менее непосредственным чем болезнь или атомный взрыв. Но пока речь шла о том, что именно внешний мир лишь явление, видимость, за которым, может быть, кроется нечто абсолютно непознаваемое, было еще терпимо, хотя Падову не раз снилась по ночам тень этого «абсолютно-непознаваемого». Но однажды, углубляясь в эту стихию, он наткнулся на поразившую его мысль, которую раньше как-то обходил: дело в том, что возможно и наше «я» — которое мы так любим — тоже одно явление, видимость, за которой скрывается абсолютно-непознаваемое, вещь в себе. И «я» всего лишь внешнее проявление этой вещи в себе. Вернее, просто «фук» и ничего больше, как говорил Собакевич.

Тут-то и началось!

Такое унижение он, как яростно влюбленный в свое «я», не в силах был перенести. Хотя в конце концов эта теория была лишь гипотезой, к тому же подверженной критике, он взвинтил себя до истерики, постепенно нагнетая эту идею на себя, и распуская ее до превращения в образ, в чудовище...

А дня за два до приезда в Лебединое, он забрел на край Москвы в грязную, с углами, пивнушку.

«То, что все иллюзорно, это хорошо, — думал он, судорожно попивая пивко и со злобой поглядывая на толстые задницы официанток и солнышко, виднеющееся в окне. — Но то что я сам иллюзия, это уже слишком... Не хочу, не хочу!.. Что же значит я поглаживаю себя и это не соответствует глубинной истине?! ...Или: за моим «я» — кроется непознаваемое «существо», которое как бы мной дирижирует?!...»

Падов подошел к стойке и попросил пива. И вдруг как только пивко полилось по горлу, он подумал о том, что это вовсе не он, а то непознаваемое «существо», невидимо и даже чинно присутствуя у него за спиной, пьет через него пиво. А он всего навсего марионетка даже в этом вульгарном, житейском положении.

От одной только этой мысли он подпрыгнул и его вырвало на

стойку. Жирная, ошалевшая от мух официантка равнодушно подобрала нелепую блевотину.

Прихватив чайку, Толя присел у окна, неподалеку от завернутого в непомерно большой ватник инвалида.

Такое смешение житейского и метафизического даже насмешило его. Но идеи по-прежнему давили. «Подумаем, — осклабился он в темноту. — Правильнее было бы считать, что мое «я» лишь внешнее проявление этого непознаваемого «икс» или вещи в себе... Отсюда следует, что «я» — фактически это не «я», ибо мое «я» составляет внешнюю, так сказать, поверхность меня самого, мне неизвестного... Или иллюзию... Итак, «я» — это не «я», — Толя даже пристукнул ладошкой по столику и мелко захохотал. — Но кто же я? В том-то и дело, что я не могу познать кто я, ибо силами моего «я» я не могу проникнуть в это непознаваемое, которое как раз и есть мое «я» само по себе, в истине. Значит, я отчужден от самого себя больше чем от неба. Может даже то непознаваемое — враг моего «я»... Может, я враг самому себе...»

Дальше Падов уже не мог думать: он упивался эмоциями. На него напала стихия какого-то дикого веселья. Он ощущал свое «я» не как самостоятельное начало, а как некий шарик, подпрыгивающий на доске, которая сама по себе несется по неизвестному пространству в другой еще более неизвестный мир. Он чувствовал приближение патологического хохота...

Подошел к завернутому в ватник инвалиду, валяющемуся на полу, и вылил на него чай. Инвалид вынул свое сморщенное, в лохмотьях лицо. Тогда Падов потрепал его по морде, и, встав на четвереньки, вынул из кармана поллитра водки. Он оказался под столом, а завернутый, как гусеница, инвалид лежал рядом. «Самое главное, это — одичание», — проговорил Падов в засохшее ухо инвалида. Тот радостно улыбнулся провалившимся, черным ртом. Падов влил туда полбутылки водки. Остальное выпил сам. Инвалид, надувшись водки, опять залез в ватник, и Падов посыпал его крошками...

Все присутствующие в этой пивной были заняты своим делом: кто пил, уткнув нос в водку; кто спал; кто просто стоял в углу. Никто не обратил внимания на Падова. Одуревший от самого себя, вечерним троллейбусом он приехал к себе домой в одинокую каморку, где в углу у окна висел портрет Достоевского.

Вечерний свет заливал эту узкую комнату, словно она была воскресшим гробом. Внутри, под одеялом, Падов вдруг охладился, как труп, и хрустально влюбленно посмотрел на себя в огромное, нависшее над комнатой, зеркало. Успокоенно пробор-

мотал: «Ну не очень уж мое «я» — иллюзия... То-то — и он погрозил пальчиком в отражение. — А все-таки ужасно, если когда-нибудь мое «я» обесценится...»

И он уснул, уйдя в небытие. Эта ночь прошла спокойно. Зато следующая ночь была кошмарна. Падову опять чудилось «непознаваемое». Непознаваемое, вернее сказать гонец от непознаваемого, обычно приходил в разных оболочках, но на сей раз просто раздался сильный стук в дверь.

— Кто это?! — завопил во сне Падов.

В ответ, как бы без предупреждения, прозвучал громкий голос:

— Вы совсем не то, что о себе думаете.

— Я — человек.. вернее дух, — подумал Падов.

— Но... но, — ответил голос.

— Я — личность, — опять подумал Падов,

— Дурак, — ответил голос.

На этом все кончилось.

После таких неожиданных, нелепо врывающихся посещений, Падов пробуждался от своего подсознания в холодном поту. Призрак непонятности и обесцененности мучил его. И на сей раз он не мог долго заснуть. Рано утром в дверь постучал почтальон. Он принес как раз то знаменитое письмо от Анны, где она призывала Падова во тьму, в «простонародное мракобесие». Падов — как профессорский сынок — не очень-то верил в силы народные, но повидать Анну был непрочь. «Она — родная», — знал он. Вот почему Падов оказался в Лебедином. Он пробежал по нему как некий метафизический вепрь и наконец присел, изможденный, на скамейку у разрушенной пивной. Черное пятно, которое он видел в небе, вдруг исчезло, точно спрятавшись в его душу. Падов встал и вскоре очутился перед домом Сонновых. Вверху, на дереве, раздался слюнный свист: то свистел Петенька.

XV

Аннушка встретила Падова с объятиями. Но он носился от нее, как дитя, по всей комнате. И все время хохотал. Снизу, точно в ответ раздался животно-таинственный хохот Клавы. Была уже тьма, которая смешалась с этим домом.

Аннушка зажгла свечку. Осветился верхний угол комнаты, где опять был Достоевский. Прибрала на стол: бутыль водки, ломоть черного хлеба и соль. Им не надо было начинать сначала: разговор, уходящий внутрь, точно прервался когда-то, месяц назад.

Падов, хихикая бледным лицом, начал рассказывать о своем теперешнем состоянии, все время показывая себе за спину.

— Где-то сейчас Федор, — почему-то вздохнула Аннушка.

Она была в платочке, по-народному, и это придавало ее утонченному лицу какой-то развратно-истерический вид, со стонами из-под пола.

Но по мере того как Падов рассказывал, превращая свой мир в веселие, Анна все более зажигалась его образами. Вскоре она уже смотрела на Падова как на шутку, за которой скрывается «вещь в себе». Она высказалась и Падов взвыл от восторга: «я сам хочу отнестись к самому себе как к шутке», — взвизгнул он, наливая в стакан водку.

Но по мере того как разговор углублялся, в темном пространстве как будто сдвигающихся углов, Анне все более мерещилось непознаваемое. Сначала «оно» лишь слегка исходило от Падова и он постепенно становился как черный святой, в ореоле неведомого.

И Анной уже овладевала страсть.

Она подошла к Падову и погладила его коленки: «Святой, Толенька, стал... святой», — пробормотала она с невидимо-кровавой пеной у губ.

Падов содрогался в забытьи. Его мысли, точно обесцениваясь, падали с него, как снег с волшебника.

А за мыслями — оставалось оно, непознаваемое.

Наконец, Анне, прислонившейся к стене, ужк привидилось, что Падов стал совсем маленький, потому что непознаваемое, исходящее от него в виде ореола, разрослось и стало как бы огромной черной стеной, в которой копошился маленький червяк — человеко-дух.

Сердце у нее дрогнуло и ей захотелось соединиться с этим черным пятном, с этой вещью в себе.

Она ринулась ему навстречу.

Хотя визуально непознаваемое предстояло как черная стена, в которую был замурован Падов, но духовно оно предстояло как предел человеческих возможностей, как то, при приближении к чему мысли гаснут, обессиливаясь в своем полете. И туда же, за ними, за мыслями, рванулась ее кровь...

Через несколько мгновений они были в постели. И Анне стало нечеловечески-странно, когда над нею очутилась черная стена... Лицо Падова как бы барахталось в ее тьме... Вскоре все было кончено, непознаваемое, охватившее на мгновенье все ее существо, ушло куда-то, в отчужденную даль. Но им удалось сочетать

грубую и узкую реальность полового акта с утонченным и грозным бытием неведомого...

На следующее утро все ушло еще глубже, точно неведомое свернулось и спряталось за обыкновенным.

Обыкновенное, правда, чуть просветленное этими внутренними смещениями, казалось как бы вывороченной наизнанку вещью в себе. Анне чудилось, что лоб Падова светится, но каким-то простым светом. Толя молча убирал на столе, двигался по комнате, мимо шкафа. Обыкновенное было еще надломлено недавним наплывом неведомого. Почти все в доме спали. Но покой Анны и Падова был нарушен стуком в дверь; дверь как бы сама собой отворилась и вошла девочка Мила. «Да она — слепая», — вскричал Падов и это были его первые слова после ночи. Мила молча, действительно, как слепая шла от двери к окну.

— Да нет, она видит. Только она не любит разговаривать, — ответила Анна, всматриваясь в лицо Милы.

И верно, более точное впечатление было такое, что Мила видела... только что она видела?!...

Ни Падов, ни Анна, конечно, не знали, что у Милы, лицо которой обычно ничего не выражало, с некоторых пор родилось странное состояние. Она видя ничего не видела. Формально, например, Мила видела предметы в Аниной комнате, но это не вызывало у нее субъективного ощущения, что она их видит, хотя ориентироваться она могла.

Поэтому Мила просто, безотносительно, села на стул и попросила чаю. Но чай она пила как воздух.

Падов и Анна, оставив ее, вышли на Сонновский двор. Там уже лежал под скамейкой пьяненький дед Коля. Личико свое он прикрыл кепкой. Уместившись рядом, за небольшим деревянным столиком, Анна посвящала Падова в тайны Сонновского дома. Особенно восхитило Падова превращение Андрея Никитича, которого он так и называл теперь: куротруп.

И вдруг из-за спины раздался благостный, чуть шальной голос Клавы:

— Присуседились, небесные... Ну как Аннуля отсосала ему яд Божий из члена... А... — и она ласково потрепала пухлой рукой Анину грудь.

«Хороша!» — мельком подумал Падов.

— А у меня водичка с собой есть... Прохладиться, — разболталась Клавуша, присаживаясь. — Вот.

И она поставила на стол ведро воды.

«Хороша!», — еще с большим восхищением подумал Падов.

В это время из сарая донеслись звуки хлюпкого падения тела. Это курицей выскочил Андрей Никитич; только выскочил чересчур мертвенно, как все равно курица, стремящаяся на тот свет.

Отряхнувшись, он «пошел» к собеседникам. Все ждали его с умилением; но Клавушка только теперь, когда он стал курицей, почему-то напротив считала его человеком.

Надо сказать, что два дня назад Андрей Никитич стал уже разговаривать, но как-то односложно. Страшно измененный даже внешне, теперь после нескольких дней новой жизни, он скорее уже напоминал не живую курицу, а мертвую. И теперь, в своих односложных выражениях, он уже так не упирал на то, что он — курица, а выражал мнение, что он просто мертв.

Когда куро-труп подошел к столику, Падов обнял его и поцеловал. Сели за стол. Каждый выпил из ведра водицы.

— Скажите, Андрей Никитич, — обратился к нему Падов. — Говорят, вы раньше были очень религиозный человек? Я читал ваши рукописные книжки о Господе.

Куро-труп с изумлением посмотрел на Падова, Подскочил и мертвенно-желтым, как у повешенной курицы, лицом, клюнул его в щеку.

— Его смотрели психиатры? — спросил Падов.

— Напрасно Алеша время тратил, — усмехнулась Анна. — Перед твоим приездом наехал их тут целый табор. И знаешь, психику признали нормальной, только чуть суженной. Просто у Андрея Никитича, дескать, снизился интеллект... Да неужели ты не видишь, Толя, что психиатрия тут не причем. По-моему, он явно превратился в другое существо, совершенно другое, нечеловеческое.

— А психиатров-то надо было вызывать, когда Андрей Никитич в Господа верили, — похабно вмешалась Клавуша. — А не сейчас.

— Я просто мертв, — вдруг ответил Андрей Никитич на обыкновенном человеческом языке.

Все замолчали, а у Анны даже выступили слезы на глазах.

— Я и сам так думал, что психиатрия тут не при чем, — вскричал, прервав молчание, Падов. — Андрей Никитич, вы говорите, что вы мертвы, вы это говорите, значит вы живы.

Падов подошел и холодно заглянул Андрею Никитичу в его тусклые, как у кур, глаза.

— Вы живы, но особой, мертвой жизнью! Понятно?! — продолжал он. — Вы помните, как жили раньше, как верили в Бога?

В глазах Андрея Никитича вдруг на мгновенье блеснула искра какого-то чудовищного, нечеловеческого сознания.

— Пустяки все это было, — сказал он.

Искра вдруг пропала и лицо опять приняло куриное выражение. Падов застыл, пораженный этой искрой.

— А ты знаешь что?! — обратился он к Анне. — То что он стал курицей, это возможно переходный этап... уже сейчас в нем рождается какое-то новое сознание, но только мертвое... Мертвое по отношению к человеческому и в том смысле что какое-то подземное.

— Ко, ко, ко! — прервал куро-труп, вскочив на стол и опрокинув ведро с водой.

— Он соврешенно нормален, — сказала Клавуша, обнежив Анин зад.

— А насчет мертвого сознания, поживем — увидим, — добавила Аня.

— Вот то-то поживем — увидим, — сочно обрадовалась Клавуша. — А не хотите сейчас баиньки? Прям с утра? Я в саду, в палисаднике, уже давно три ямы вырыла. И травушки туда наложила. Все равно как травяные могилки. Я там уже два раза спала.

Падов расхохотался, глядя на Анну: «синтез, синтез-то какой!». И все втроем действительно пошли в травяные могилки. Мимо них промелькнула тень Милы.

«Как жаль, что нет Федора», — подумала Анна.

— А что говорил до своего превращения Андрей Никитич про обитателей этого дома. — спросил Падов у Клавы, когда все улеглись в ямы. Могилки стояли рядом, как бы замуровывая в себе, но голова Падова чуть возвышалась над землею, для разговору.

Из-под земли донесся Клавин голос, причем почему-то с похабными интонациями:

— Да кажись злыми всех нас считал.

Падов рассмеялся.

— Да вель мы не злые, мы просто потусторонние, — сказал он и спрятал головку в травяную могилу.

А к вечеру во всем дворе Сонновых—Фомичевых уже царило веселие. Мила, ничего не видя, забралась на дерево. Петенька с остервеневшим от самого себя лицом скребся под ним. Похмельный дед Коля, еле держась на ногах, искал по всему двору могилку доченьки Лидиньки, хотя она была захоронена на отшибе Лебединого.

Первой из травяной могилы вылезла Клавуша.

Мысленно онелепив окружающее, так что нелепость всего была возведена в квадрат, Клавуша побрела устраивать еду...

А Падова недаром называли «любимчик загробного мира»; в травяной могилке он надумал такое про будущую жизнь, что не решался сказать об этом даже Анне. С побледневшим лицом он вылез из-под земли. Вообще метафизические кошмары часто сменялись в его душе, вереницей, один чудовищней другого. Возможно, что сыграла роль перемена ситуации...

Анна еще лежала в могилке, любуясь на себя в зеркальце. В то же время она искала непознаваемое в самой себе.

К тому же Анну преследовала мысль о прошедшей ночи: о соединении с Падовым и вещью в себе. До этого, периодами, она жила с Падовым, но с вещью в себе — никогда. И даже физическое удовлетворение от этой ночи казалось ей жутким и лежащим по ту сторону обычного... Она даже не могла понять удовлетворена ли она или просто спокойна — спокойна холодом неизвестного. «Ты у нас метафизическая куртизанка», — говорил ей нередко Падов.

Ужинали опять во дворе, за привычным столиком. Андрея Никитича никак нельзя было усадить за стол: он курлыкал и дулся. Наконец, Клава, умилившись, высыпала ему на травку гречневую кашу и Андрей Никитич, встав на четвереньки, с удовольствием поклевал ее. Дед Коля, ранее охотившийся за Андреем Никитичем с ножом, имел теперь с ним особые интимные отношения. Он подал ему замысловатый знак на пальцах и куро-труп вдруг робко присел на скамейку, за стол. Вскоре дед Коля, вскочив, ускакал куда- то за Петенькой, но Андрей Никитич по-прежнему сидел. Уловив его какой-то, вроде бы осмысленный с человеческой точки зрения, взгляд, Падов спросил:

— Андрей Никитич, что же все-таки с вами, объяснитесь, ради Бога... Может быть нас всех ждет такая участь. Что с вами?

— У меня отнялись мысли, — вдруг ответил Андрей Никитич.

— Как отнялись?! Значит, вы ни о чем не думаете?

— Ни о чем.

Куро-труп покачал головой и опять замолк, как самая настоящая курица. Было такое впечатление, что сказал он это мельком, самым последним, еще сохранившимся атомом человеческого сознания.

— Надо бы его как-нибудь расшевелить, — сказала Клава, сжимая свои вкусненькие пальчики. — Аннуля, вы никогда не спали с домашнею птицею? ...Попробуйте-ка его соблазнить!

Падов хихикнул. Клавуша вдруг оживилась.

— Надо бы выпить, ребята, — сказала она, глядя в дерево. — Пойдемте в комнату, там лучше...

Все встали. Падов вел Андрея Никитича за руку и бормотал:

— Он совсем не контактен. Но мы проникнем в него.

В комнате, куда Клава провела друзей, было вымороченно-уютно; в углу у пухлой постели темнели странные изображения.

Откуда ни возьмись, появился гусенок. Это Клавуша внесла его, прижимая к полной груди. Потом, подхватив его, вдруг юркнула в смежный маленький чуланчик, дверь в который приютилась между углом и пузатым шкафом. Куро-труп, прыгнув, вскочил с ногами на постель, безразлично хохотнув.

Аня с Падовым налили себе немного водки. Кровавый закат смотрел им в окна.

— Клавуша-то наслаждается, — подмигнула Анна Падову. — Вот только как, никто не знает...

Но душа Анны по-прежнему была занята непознаваемым; и даже лицо Падова было как сюрреальное окно в непознаваемый мир. Но внешне Анна была здесь.

Минут через десять появилась раскрасневшаяся Клавуша. В ее руках был гусенок, который ворочался.

— К такой встрече, — взглянув на Падова, сказала она, — надо и закуску подходящую. Я мигом этого гусенка зарежу и самым быстрым способом приготовлю.

Чуть пьяненький Падов одобрительно похлопал ее по бедру. Клавуша исчезла в темноте коридора.

Падов, совершенно истощенный искренностью и жутью своей внутренней жизни, внешне вел себя истерически и по-юродивому.

Сейчас он пристал к Анне с просьбой хоть в какой-то степени соблазнить куро-трупа.

— Может тогда встанет из гроба-то своего. Эдакое воскресение из мертвых, — хихикал Падов.

Анна, чуть опьяненная и ушедшая в свои мысли о неведомом, вдруг, как сомнамбула, стала действовать.

Она присела на кровать, рядом с куро-трупом, и поглаживая ему руки, глядя в лицо, начала, больше глазами, говорить про любовь, про нежность.

Но Андрей Никитич совсем не реагировал; потом даже начал брыкаться и пускать слюну.

— Безнадежно, — пробормотал Падов.

Но вдруг, то ли после того, как Анна сделала какое-то движение, то ли еще почему, тусклые глаза Андрея Никитича засветились. «Ого!» — проговорил Падов. Однако, самое

странное, глаза куро-трупа засветились вовсе не на Анну; он явно смотрел за ее спину, в какое-то пространство. Тело его было неподвижно, а глаза светились все больше и больше, каким-то тусклым, мертвенным интересом. Он все время глядел в пустоту, как будто чего-то там видел. Более того, Анне показалось, что в его глазах выражен яростный сексуальный интерес к этой пустоте.

Инстинктивно Падов прижался к Анне. Что-то вдруг переключилось и Анна, встав и прильнув к Падову, стала тихо танцевать с ним словно они были одни в этой комнате, напоенной субстанциональным безумием.

Иногда они бросали взгляд на куро-трупа. Но Андрей Никитич не был разбужен.

Он приподнялся и с прежним выражением мертвенного интереса в тусклых глазах пошел неизвестно куда. Что-то в нем происходило и Анне вдруг провиделось или почудилось?! что это «что-то» есть адекватная компенсация за отсутствие половой жизни «там». Компенсация, которая могла происходить только в том мире, куда попал старик.

Старичок бормотал, иногда чуть приседая кивал головой пустоте. В его сознании, очевидно, происходили какие-то процессы, которые внешне, поскольку он был еще в земной оболочке, выражались ублюдочно и нелепо. Один раз Андрей Никитич даже залаял.

Падову казалось, что, поскольку у старичка отнялись мысли, он думая не думает.

Анне почему-то вспомнилась идея о множестве, может быть о бесконечности, миров, существующих помимо нашего, но где-то рядом с ним. «Один из них, — думала она, — налицо...».

Неожиданно Андрей Никитич споткнулся и медленно плюхнулся в кресло, как скованное чудовище... Дверь распахнулась и вошла Клавуша с приготовленным гусенком на блюде; она улыбалась всем своим провально-пухлым, масляным лицом: «Вот я какая быстрая!».

Водка была еще недопита; она стояла на столе, купаясь в вечернем свете. все уселись за стол, кроме, конечно, куро- трупа; последний был в забытьи и уже ползал по полу.

Анну и Падова поразило стремительное превращение живого гусенка в мертвое, сочное блюдо. Эта история вдруг внезапно очень больно кольнула в сердце, подчеркнув всю иллюзорность жизни.

Анна без содрогания не могла взять кусок мяса в рот. Клавуша же добродушно и наслажденно уписывала во всю.

— Полюбовничка своего жрете, Клавдия Ивановна? — умилился Падов.

Клавуша вдруг покраснела, но как-то безотносительно; хотя кусок все-таки застрял у нее в горле.

— Ну как прошло? — посочувствовала Анна.

— Идеть, — улыбнулась Клава. — Вот сейчас совсем прошел, и она довольно погладила себя по брюху.

Кусок действительно прошел.

XVI

На следующий день приехал Алексей Христофоров. Сверившись насчет Андрея Никитича, он, узнав о Падове, хотел было улизнуть, но Толя не дал ему такой возможности.

Аннушка тоже постаралась задержать его до вечера, своеобразно приголубливая. Христофоров прятался от них по углам, в сарае, между дровами.

Куро-труп никак на него не реагировал, но вообще был очень озлоблен и, надувшись, покраснев, сидел в сарае, высоко, на досках, так, как сидят, обычно, курицы на насесте.

Христофоров, ошалев от всего, ушел к деду Коле, хотя по дороге его почему-то напугала девочка Мила.

Если с Анной у Алексея были свои отношения, то Падова и его окружение Христофоров последнее время совсем не выдерживал. И тем более такого сочетания: Анна и Падов.

Он боялся Падова, боялся через него вызвать в себе какие-то безобразные импульсы. Хотя Падов часто нес при нем несусветную, юродивую дичь, Алеша чувствовал, что за всем этим скрывается такое, при виде чего надо бежать в травы и молиться.

Но все-таки и на сей раз, у Сонновых, ему не удалось увильнуть от Падова.

— А вы знаете о том, Алеша, — влюбленно глядя ему в глаза, сказал Падов, — что Бог противоречит Вашему существованию, — и Толя захихикал тем утробно-истерическим, по отношению к внешнему миру даже дебильным смехом, каким он всегда смеялся в таких случаях.

Христофоров так и рот раскрыл от изумления: он и не пытался осмыслить эту фразу, то есть представить в каком случае это

возможно, чтобы Бог противоречил им же созданному, но почувствовал себя очень задетым и даже как бы пристукнутым. Чем более иррациональны были такие выходки, тем сильнее они выводили его из себя.

— Бог вовсе не противоречит моей сущности, — со слюной, растерянно проговорил он. — Бог меня очень любит, — уже как-то совсем глупо, как на приеме у психиатра, прибавил он, разводя руками.

Но потом опомнился. Вскочил и убежал к Анне, в комнату.

— Я уезжаю! — закричал он. — Этот черный ублюдок опять начинает меня дразнить!

— Да бросьте вы, Алеша, — вдруг вмешалась откуда-то взявшаяся Клавуша, — ласки вы просто не понимаете!!

Вскрикнув, Христофоров, схватил сумку и унесся — через двор, на улицу. По дороге ему показалось, что Бог, как Он есть на самом деле, а не в учениях, действительно противоречит его, Алешиному, существованию. От этого Христофоров вскоре почувствовал себя страшно поглупевшим и совершенно выкинутым из мира. Даже тело свое он ощутил не на месте.

Между тем Анна пошла пробирать Падова. Она видела, что после всех этих бурь по поводу вещи в себе, после этого «начинающегося синтеза» с подспудно-народным мракопомешательством, Падов сам находится во власти какой-то внутренней истерики, во власти своей стихии. Она чувствовала так же, что сейчас ему нет до нее дела.

Посреди всеобщей оторванности, посреди своих вспышек любви к идеальным, умопостигаемым сущностям и «бредовым» мирам, Анна нередко остро чувствовала и людей, разумеется близких ей по духу.

Поэтому отношение Падова задело ее. Ей было обидно, что она не в центре Толиного состояния и чтобы поддержать себя, она, спускаясь по лестнице, погладила собственную грудь, на мгновенье захлестнувшись в любви к себе.

— Оставь ты в покое Алексея, — накинулась она на Падова, — что тебе он? Пусть живет в своем комфортабельном, христианском мирке...

Но Падов прервал ее.

— Вот что, — тихо проговорил он, — я чувствую: что-то надвигается... Ты оставайся здесь, если хочешь, а мне надо уехать. Но скоро мы все равно увидимся.

По Толиному лицу Анна видела, что он говорит правду и что он бесповоротно куда-то уезжает, вернее бежит...

«Чем скорее, тем лучше», — подумала она.

Через час Падов уже выходил из дому. Но до этого он о чем-то долго шептался с Клавой. Как потом Анна узнала, речь шла о Федоре.

XVII

Анна проводила Падова почти до самой станции. Она не знала с кем прощается: с вещью в себе или с человеком.

Поганая кошка все время бежала и мурлыкала около ее ног. Испугавшись мыслей, направленных на мир, Анна ушла в себя и там, на дне души, видела озарения; в озарениях и пришла домой.

Далеко, под деревом кто-то истошно выл.

Измученная, Анна рухнула в постель и заснула.

Посреди ночи ей стал видеться сон. Сначала она увидала Извицкого — того самого, про которого Алеша Христофоров говорил, что он кошмарен. Пожалуй, после Падова он был самым близким для Анны.

Извицкий вошел тихо-тихо, открыв дверь Анниной комнаты, здесь, в Сонновском доме. Но, как часто бывает во сне, пространства смешались: сама комната виделась та, в которой Анна жила в Москве. А окно из нее вело не в Москву, а в синее пространство, где реяли голуби, точно сорвавшиеся с религиозных картин.

Извицкий как будто замешкался, осматриваясь, словно ничего не узнавая. В одном углу стена комнаты была чуть раздвинута и за ней зияла бездна.

Анна чуяла, что она — здесь, в этой комнате, и хотя себя не видела, но чувствовала свое присутствие, где-то рядом... Тело у Извицкого было мягкое, гладкое, со складочками, впитывающими в себя, но выражение лица его запомнилось озлобленно-тоскливое...

Наконец, он медленно пошел к Анниной постели, туда, где она неожиданно уже не только чувствовала, но и видела себя. И тут Анне стало сниться что-то совсем невероятное и жуткое. По мере того как Извицкий подходил к ней, она исчезала.

Исчезала, вытесняясь из сна в какое-то ничто.

Та жгучая субъективная привязанность, которую чувствует спящий по отношению к самому себе, виднеющемуся во сне, тоже стала пропадать. Потому что самой себя не оставалось. Это постепенное исчезновение было не только страшным и мучительным, но и странным, точно медленное выталкивание из самого

мира. У Анны, на внутренней стороне раскинутых во сне ног, даже выступил теплый пот, словно влага жалости и пощады.

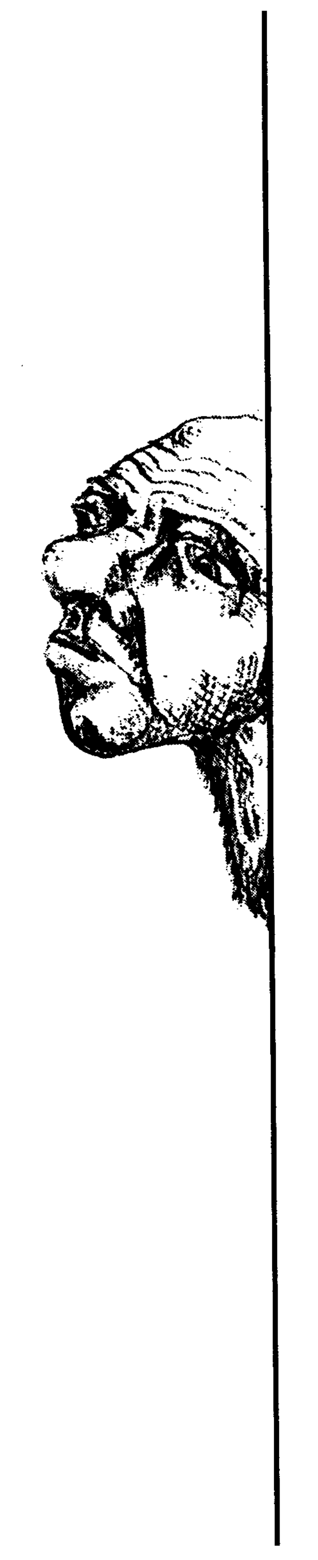
Вдруг все сразу изменилось, произошел резкий, обозначенный разрыв: «я» разом, полностью выпало из сна и сон внезапно приобрел новое качество.

Он стал формализованным, жутким, словно происходящим во вне; если бы не его, существующая в то же время, слитность с душой, за ним можно было бы наблюдать с далеким спокойствием, как за действием на другой планете или в не настоящем. Мука прошла и Анна почти холодно следила за сном, не чувствуя где она, что она.

Извицкий между тем продолжал медленно подходить к постели, с тем же, даже большим желанием. «Что он там ищет? — подумала Анна, — ведь меня там нет». Ей стало не по себе: что можно искать на пустом месте. Извицкий вдруг очутился прямо над кроватью; под одеялом что-то двигалось; он со страстью и надеждой резко откинул одеяло... И Анна увидела: пустоту, но только извивающуюся. На постели ничего не было и в то же время эта пустота дергалась, притом очень сладострастно; от этого-то и шевелилось одеяло. Анне показалось, что Извицкий погано и понимающе улыбнулся этой пустоте. Что было дальше, непонятно, ибо в этот момент Анна стала просыпаться. Медленно возвращалась к себе. Отсутствие себя во время сна переносилось угрожающе тяжело, тяжелее любых фобий, особенно по последствиям; душа точно охолодилась.

Чуть опомнившись, она встала с постели. В окне была ночь. Звезды, мерцающие во тьме, вдруг заговорили и Анне почудилось, что это — ожившие, разбросанные по миру, голоса всех идиотов, тоскующих на земле...

●



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

После того как Федор покинул Клавин уют, он вскоре поехал по делу, на север, в глубь России, к Архангельску...

И даже мельком не вглядывался в людей: ум его чаще был занят Анной и чем-то еще, как всегда жутким и неопределенным.

Иногда же, когда вглядывался, то люди казались ему не живыми загадками, которых надо убивать, чтобы в некотором роде разгадать их тайну, а наоборот, уже готовыми светящимися трупами, без всяких тайн. «Сколько мертвецов», — подумал Федор на вокзальной площади, заполненной двигающимися толпами. Два раза он, ради детского любопытства приподнимая голову, явственно видел внутри живого, закопченного воздухом, человечьего мяса светящиеся синим пламенем скелеты.

«Еще схватят за горло», — простодушно думал он, глядя на истерически говорливых, деловых мужчин, рассуждающих о паровозе.

В вагоне он поразил живую, чуть боящуюся своих мыслей девушку, своим долгим, бессмысленным взглядом.

Она почему-то решила, что он хочет есть и предложила ему бутерброд.

Федор же окаменев, смотрел в окно: мимо него мелькали хватающие своей тоскливостью необъятные поля, заброшенные домики; иногда казалось, что все это вот-вот должно исчезнуть или провалится сквозь землю.

В душе Федора был покой, как мертвенная глыба; и даже во

сне ему виделись одни камни. Бодрствуя же, он слушал свой живот, словно он был единственно живым в нем; вкушал его переливы, погружая в бездонную плоть душу; но от присутствия сознания мертвел даже его живот.

Чувствительной девушке, сидящей около него, казалось даже, что он думает животом, а голова у Федора так, для видимости. Он притягивал своим животом окружающих, как будто его живот был мертвенный храм, втягивающий в себя.

Хорош же был его вид с сумрачным, колыхающимся, в темных мыслях животом и совершенно рудиментарной, как пятка, как кусок мяса, головой...

В стуке Федор доехал до нужной станции Д. Сознание как будто возвратилось ему в голову, но от этого голова сделалась совсем странной, и даже как бы блуждающей. Таким Федор и оказался в этом пронизанном ветром и шатающимися людьми городке. Непомерно большая, особенно по сравнению с маленькими, уютно-одноэтажными домиками, площадь служила также местом остановки автобуса, на котором Федору нужно было доехать до ближнего, смешного аэродрома, а оттуда лететь на самолете в Р, куда иначе, по бездорожью нельзя было и добраться. Но два дня Федор прожил около этой площади, окуная свое лицо в канавы и дорожки около домов. Один раз ночью, проснувшись, он дико завыл под окнами одного домика; и жильцам почемуто снились одни ангелы.

Наконец, Федор забрался в грязный, полуразрушенный, нелепо-трухлявый, битком набитый автобус. Водитель — здоровый, лысый, шальной детина — сначала повел автобус резво, бешено, словно норовя на тот свет. Но, очутившись за станцией, на пустынной, полу-лесной дороге он повел автобус так, как будто все время спал. Детина громко, на весь автобус зевал, харкал в потолок, но люди застыли, погруженные в себя.

Федору даже показалось, что это не автобус, а мчащийся на колесах молельный дом. Видимо, каждый молился здесь своему одиночеству. Только шофер был чересчур боек: нелепо смотрел по сторонам, вертелся, да и руль под его лапами еле держался. К рулю он скорее относился как к месту, чтобы облокотиться.

Так в покое Федор проехал половину дороги. Изредко, словно слезы засохшего божества, моросил мелкий, северноруссский дождик. Водитель вдруг остановил машину и выпрыгнул из нее. Угрюмо, с земли, подошел к сидящим в автобусе пассажирам.

— Выпить-то никто не желает? — тупо спросил он.

Пассажиры мутно зашевелились, но, видимо, к этому уже давно

привыкли. Однако охотников до водки, как ни странно, не нашлось, правда, в автобусе сидели одни бабы да старички.

— Ну подождем малость, пока я опохмелюсь, — проговорил водитель и, вынув из кармана бутыль водки и колбасу, расселся на обочине дороги.

Пассажиры чуть-чуть приуныли, кто-то запел. Выпив водку, водитель опять подошел к пассажирам.

— Ну я посплю пока, потом поедем, — лениво потянулся он.

Все молчали.

— Да как же, я на аэродром опоздаю, — пискнула старушка с тремя корзинками.

— Не опоздаешь, — сурово оборвал ее водитель. — Самолет сам скорее тебя опоздает. Он на расписание не смотрит. Эва, опять на небе солнышко...

И водитель пошел под дерево — спать.

— Таперя он надолго, Петряй. Вон другой шофер, Костя, так он мало спит во время рейсу, — проговорил какой-то старичок из местных.

Автобус стоял недвижен, водитель спал под деревом, а пассажиры разбрелись: кто ходил вокруг автобуса, кто пошел в лес по грибы.

— Не заблудились бы! — истошно крикнула рваная старушонка.

Федор тоже вошел в лес, но долго стоял около дерева. В уме скелетов больше не было, была Анна...

Днем добрались до аэродрома — огромного пустыря, напоминающего площадь на станции, только без домишек по краю. Два-три покареженных самолета стояли на земле. Нужный самолет действительно еще не прилетел, опаздывая часа на четыре, и на аэродроме, как на лужайке, образовалась очередь около пустоты. Старушка с тремя корзинками норовила первая. Дед пел песни. А Федор никого не видел: иногда вместо людей в сознании выплывали столбы. В воздухе летали и хлопотливо каркали мокрые, черные птицы.

Наконец, появился и самолет: маленький и казалось готовый вот-вот развалиться. Вид у него был еще невзрачнее грязного автобуса. Народец радостно полез в машину, полупьяный летчик погонял: быстрее, быстрее. Набитый самолетик поднялся вверх, к воронам. Сквозь наружную стенку пассажирам слышались мат и пьяное уханье летчика, разговаривавшего с кем-то по радио. В высоте отвалилась и полетела к земле дверца пассажирской

кабины. «Как бы не вывалиться», — испуганно подумала рваная старушонка и отодвинулась от образовавшейся пустоты.

Федору захотелось равнодушно высунуть в эту пустоту лицо.

Между тем летчик ругался с кем-то, наземным, по рации:

— Не буду я на етот аэродром садиться, — бормотал летчик. — Я Солнечное пролечу, а сяду... Сегодня я в Солнечном не опущусь.

С грехом пополам самолетик опустился на траву, около Р.

Обалдевшие, но в суете, пассажиры высыпали наружу.

— Дальше пока не полетим, — угрюмо предупредил летчик. — Бензин кончился. Вот к председателю в деревню схожу: он даст... Мы у него бензин меняли на водку.

Народец, точно зачарованный, расселся где мог. Но Федор был на месте, у цели.

— Машина хорошая, все выдержит, — сказал на прощание летчик и пнул самолет ногой, как телегу.

Федору равнодушно-нравилось такое отношение к технике; сам он почти не замечал существование машин.

В местечке Р. Федору нужно было завершить свои кой-какие денежные дела.

Дальний родственник-старичок, из местных, похожий на бабу, сначала махал на него тряпкой и норовил убежать в лес. Но Федор не отставал, держа его за рукав. Спал на полу, в избе, недоверчиво щурясь от мирского света, пряча голову вниз, во тьму. Изумлял он также тем, что играл с маленькой, иссушенной девочкой в прятки.

Дико было видеть его, огромного, точно заслонившего собой солнце и в то же время прячущегося от неизвестно чего...

В поле, около домов, молодежь еще до сих пор играла в бабки. Для безобразия Федор и сам готов был поиграть. Молодежь шарахалась от тяжелого, угрюмого и серьезного выражения его лица. С таким видом он и играл в бабки. Да еще мертво сопел при этом. Домой, в избу, возвращался один, нелепо осматриваясь, провожаемый воем бездомных и точно чуящих его кошек.

II

Наконец, Федору удалось закончить свои дела. Утром, один, навстречу восходящему солнцу, он пошел на ближайшую станцию. Соннов уже давно не относился к солнцу, как к солнцу: оно

казалось ему мертвенным, опаляющим, вымершим изнутри существом, совершающим свой ход для других. И ему было приятно греться в этих лучах смерти, впитывать тепло от погибшего для него существа.

Иногда он останаливался и грозил солнцу своим огромным, черным кулаком. В этот миг он казался самому себе единственно существующим во вселенной и способным раскидать весь приютившийся хлам.

Но, когда он опять очутился среди людей, в суете, их присутствие снова стало томить его. Они, конечно, не подавляли его бытие; нет, он по-прежнему чувствовал себя самодавлеющим, но одновременно они странно раздражали его своей загадочностью и иллюзорностью; и вместе с тем весь мир от них становился иллюзорным.

Это уже была не та добротная, щекочущая и какая-то реальная иллюзорность, с какой Федор иногда ощущал себя; это была мутная, внешняя иллюзорность, которую страшно было перенести на себя и которая нуждалась в активном преодолении. Одну старушонку в поезде Федор даже больно ущипнул за ляжку. Она вскрикнула, но Федор тут же, наклонишись, так посмотрел в ее лицо, что старушка почти исчезла. Раздражать Федора стали даже животные; на одной остановке, у колодца, он поленом проломил голову лошади. И, скрывшись, долго смотрел из окна пивной как убирали труп этой лошади. Ближе к Москве, в городишке Н, вдруг почесал жирно-извивную шею подвернушейся молодой женщины.

Между тем Федора опять мертво и по-старому тянуло убивать. Покачиваясь в вагоне электрички, он мысленно выбирал подходящие жертвы. Не то что он совсем уже ошалел и рассчитывал убивать где попало, но он просто совершал своего рода психологические упражнения: кого бы он убил с удовольствием, а кого — без.

Мертвых и отвратительных, бездарных существ ему не хотелось трогать; его больше тянуло на одухотворенные, ангельские личики; или необычные: извращенно-испуганные. Одну склизкую, жирно-молоденькую дамочку, вздрагивающую от страха перед бешенным движением поезда, ему особенно захотелось задушить прямо здесь, за горло, в этом темном углу, в котором она думала схорониться; прикончить и потом заглянуть всем ликом своим в ее мертые, стекленеющие глаза, в которых, может быть, отразится весь внутренний ход ее жизни, теперь исчезающий в вечность.

Затем, на станции — в столовой — у Федора возникло адское

желание живьем содрать кожу со смачно жующей, переполненной женщины, сидящей к нему спиной. Содрать и посмотреть, как она будет есть, обнаженная-мясная, без кожи. Его даже чуть напугало это желание, не имеющее прямого отношения к его идее-убийству. Федор встал и вышел на площадь, в пространство. Немного побродил, быстро войдя в свое обычное состояние.

Навстречу то и дело попадались люди и они привычно раздражали своей оторванностью от его собственного существования. «Ишь, кроссвордов сколько Господь на свете поставил, — думал он, смачно сплевывая и внимательно вглядываясь в лица прохожих. — Говорят, ходят, и все без меня... И вроде такие же, как я... Хм... Загадка... Смыть бы их всех... туда... в пустое место».

Не только смерть была его душою, но и общая загадочность чужих существований. Вернее, все это было связано в единое, необъятное и недоуменное отношение к внешне-живому, к людям.

Вскоре Федор утомился и юркнул в местную электричку.

Родные, таинственные, вечно-русские поля и леса, мелькающие в окне, казались ему, оглушенному своим миром, чуть истеричными, сдвинутыми даже в своей покинутости и нирване.

Соннов знал куда ехать: в «малое гнездо».

Это было местечно Фырино, далеко в сторону от Лебединого. Там, в захудалом домике, жила сморщенная, почти столетняя старушка Ипатьевна, по слабоумию питавшаяся кровью живых кошек, но очень обожавшая Федора. Слабоумна же Ипатьевна была только в земном, пустяшком значении; на потустороннее же глаз имела вострый и не закрывающийся. Клавуша считала, что она — очень надежна и даже приходится им дальней родственницей. Недаром Федор многое не скрывал от нее... По дороге от станции, полем, Федор заглянул в глаза проходящему по грибы мальчику, который надолго остолбенел от этого взгляда.

Домишко старушки Ипатьевны был в центре, но до того худ, что готов был вот-вот рассыпаться. Напротив был сумасшедший, полу-непонятный базар из трех скамеек, на котором — по внутреннему ощущению — продавали одну пустоту, хотя вокруг скамеек толпилось много народу.

Ипатьевна встретила Федора страшным, нутряным криком; ринувшись из черноты полунежилых, развалившихся комнат, она бросилась ему на шею; Федор, своеобразно тряхнув, приголубил старушку.

В ее комнате стояла одна кровать, рыхлая и нищая; все было в грязи, но на полу, где обычно стоят банки с ночной мочой, стояли также банки со свежей кошачьей кровью; из-под кровати

выглядывало худенькое, испуганно-искаженное личико мальчика-соседа, за гроши поставлявшего Ипатьевне кошек.

В другой комнате, с обвалившимся потолком, у стола, при свечах, втроем, они отпраздновали свою встречу. С пола мяукнула и заглянула Федору в глаза огромная и осторожная кошка-донор. Но Федор был отчужден даже от странных животных. Пошевелив мальчика, он пошел спать во тьму, на сеновал.

III

На следующий день Федор вышел в свет, на просторы, Утренняя чистота охватила его плоть, проникая во внутрь, в легкие. Но Федор думал об одном: об убийстве.

— Радость великую ты несешь людям, Федя! — прокаркала ему вслед старушка Ипатьевна.

Но свежесть, казалось, похоронила все потусторонее; птички, щебеча, весело вылетали почти из-под ног Федора.

Соннов сел на утренний, почти пустой автобус, и проехал несколько остановок до деревушки Петрово. Воспоминание влекло его. Здесь, в лесу, вернее в заброшенном двряноком парке, неподалеку от единственной, нелепо оставшейся скамейки, несколько лет назад он убил задумчиво читающего про себя стихи юношу. И кажется, потом укусил его в шею...

Федор неповоротливо вылез на остановке и огляделся: та же или чуть непохожая дорога вела в близкий, наступающий лес.

По пути ему попались двое мужчин с маленькой семилетней девочкой; глаза у нее были словно вставленные с неба. Федор загрустил: такую он непрочь был убить.

Вообще свои жертвы Соннов делил на обычных, «раздражающих», которых он убивал только из общих свойств своей души, и на «благословенных», которых он к тому же еще любил, испытывая к ним, пока они были живы, сквозь свою угрюмую и нездешнюю душу какое-то томное влечение.

Но уже убитых, ушедших «в пустое место» — обычных или благословенных — Соннов любил всех, уже другой, ровной, сладостной, почти религиозной любовью. Как только человек исчезал, убитый им, то из предмета раздражения и загадок он постепенно превращался для Федора в тихое, святое, хоть и непонятное существо. Федор надеялся на его заступничество на том свете.

По всей Рассеи были разбросаны Федоровы «святые места», где

на месте убийства Федор воздвигал как бы невидимые храмы, часто молясь там за самого себя. Да и в отсутствии, в дороге ли, в уединении Федор не раз с умилением обращался к убиенным, просил их о помощи, земной или небесной.

«Как то они меня там встретят», — облегченно вздыхал он и их присутствие на том свете было единственной причиной того, что Федор иногда сам порывался на тот свет. Он почему-то считал, что они гарантируют ему личное бессмертие.

«Радость великую ты несешь людям, Федя», — вспомнил он сейчас, добредя до скамейки, слова Ипатьевны. В воздухе или в воображении носились образы убиенных; они становились его ангелами-хранителями.

Федор, разогнав свое сознание в каждые уголки тела, отдыхал; иногда своеобразно молился, похлопывая себя по ляжке. Не каждый раз ему выпадали такие минуты; он берег их, наслаждаясь своим умилением... Обычно они прерывались, резко и внезапно, и Федор оказывался в своем постоянном, полупомешанном состоянии.

Так произошло и сейчас: ангелы-хранители вдруг исчезли, лес давил своим существованием, и Федор начал сопеть в пустоту. Оглянувшись, удовлетворенно встал и погрозил кулаком, в небеса... Разрыхляясь пошел в глубь, в лес, в сумасшествие... Все родное, привычное уже жило в груди... Плутая по тропинкам, заходя все дальше и дальше, Федор жаждал убийства.

Наконец, когда он уже терял надежду найти что-нибудь живое и сознательное, за кустарником, на пне, он увидел сидящего пожилого человека, внутренне напоминающего старика. Он был худ, длинен, немного сед, и лик имел благообразноустрашающий, словно молящийся Диавол. Впрочем Соннов не застревал на его лице. Осторожно убедившись в одиночестве человека, он крупным, решительным шагом, слегка пошатываясь от нетерпения, пошел к нему. Морду свою Федор выпятил вперед, на жертву, и, ничуть не скрываясь, вынул из кармана огромный, заржавленный нож.

Человек, увидев Федора, встал с пня. Не двигаясь, чуть раздвинув ноги, он, хмуро и отсутствующе подозрительно смотрел на Федора, понемногу понимая, что этот неизвестный хочет его убить. Федор приближаясь, глядел внутрь жертвы, пытаясь выковырить сущность. Внезапно, когда Соннов был уже недалеко, человек резко скинул с себя портки вместе с нелепыми подштанниками и, повернувшись, чтоб было виднее, показал Федору свое нижнее место.

От неожиданности Федор замер и совсем уже был поражен, когда увидел, что у этого мужчины нижнее место — пустое. Ни члена, ни яичек не было. Тем не менее мужчина выставлял свою пустоту напоказ и даже старался, чтоб до Федора все дошло. Соннов выронил нож из рук.

— Михеем меня звать, Михеем, — промычал мужчина, полуголо передвигаясь к Федору и протягивая руку. — Михеем.

У Соннова вдруг пропало желание его убить; он, завороженный, смотрел на нижнее пустое место. Михей в свою очередь вдруг как-то сразу почувствовал, что его не будут убивать. Не надевая порток, он присел на ближайший пень. Федор расположился рядом, на земле.

— Ну, закурим, — сказал Михей миролюбиво.

Федор обмяк и даже заинтересовался всем этим. Вынул из кармана помятую пачку сигарет.

— Что ж это у тебя от рождения? — угрюмо выговорил он, глядя на нижнее место.

— Да нет, просто так... Сам оттяпал... Потому что надоело... скакать по ночам.

— Как надоело?

— Да так, надоело и все. Сам с Божьей и людской помощью и оттяпал в сарае. А Ванютка прижег.

Федор встал, отошел и со злобой отбросил нож ногой далеко в сторону. Михей смотрел на него удивленно-радостный. Его благообразно-подвижное, значительное лицо щерилось в поганой улыбке.

— Да ты никак наш?! — спросил он у Федора.

— Как это ваш?

— Да так, оттудава, — и Михей сделал замысловатое движение рукой, показывая не то себе на голову, не то глубоко под землю.

Из лесу возвращались почти друзьями. Михей ничуть не боялся Федора; наоборот, теперь после встряски, он выглядел степенно-значительно и как-то мудрено; благообразный, он в чем-то поучал Федора. Соннов слушал его с мутным, видимым удовольствем. Один: длинный, в седине, сумасшедше-благостный, другой: пониже, коренастый, с волчье-понимающим лицом — такими они шли по дороге, к деревне. Осторожные, крикливые люди обходили их тропкой. Через час они уже сидели в грязненькой полупивной, около остановки автобуса. Михей жил один, недалеко, в соседнем селе-пригороде. Но Федор звал его к себе, в малое гнездо. Отсутствующе-благообразное, без закорючек, лицо Михея утеша-

ло его. «Не человек, а одна видимость», — с удовольствием думал Федор.

— А может быть ты сектант? — вдруг спросил Федор после первой кружки.

Лицо Михея сморщилось.

— Ууу, тьфу, — он сплюнул. — Я сам по себе. И отрезал, потому что мне надоело, а не из-за умствованья. Знаю я этих сектантов — тьфу... Мичтатели... Они меня за своего принимають. Если хошь, — Михей харкающе наклонился к лицу Федора, — я покажу тебе их... тут... Неподалеку... Я знаю... Только тсс... в секрете...

Федору явно хотелось пообщаться с Михеем; потому в конце концов решили встретиться завтра, здесь, у остановки, а пока разойтись по норам.

На следующий день Федор аккуратно, съежившись, поджидал Михея на условленном месте. Первый раз в жизни у него появился вроде как друг.

Михей показался издалека; шел пьяно, пришаркивая ножкой, но лицо было значительно.

— Может, в церкву сначала зайдем? — осведомился Михей у друга.

— А нешто здесь есть? — недоверчиво пробормотал Федор.

— Есть, есть; не на пустом месте живем, — прошамкал Михей и потянул Федора вкось, в проулки...

...К вечеру надо было идти к сектантам. Но сначала прошли к Михею, в дом. В его комнате было почти пусто; рваная кровать хоронилась в углу. На табуретке лежала селедка и книга. Федор со своим нежданным дружком стал чаевничать. Пар от кипятка заволакивал их лица. Федору все больше и больше нравился Михей: «незаметный он и все время уплывает», — думал Соннов. Личико Михея от чаю как-то невидимо раскраснелось и он действительно, вместе с сознанием своим, куда-то уплывал. Федор угрюмо разнеживался, точно с его суровой, твердой, как камень души, стекали капельки расположения. Но все-таки вид его был дикоотчужденный, особенно, когда он смотрел в окно. Михей осторожно встал и улыбчиво, нежно прикоснулся к плечу Федора: — Убить меня хотел, но погнушался, как я показал, раскинувшись... Сердечный.»

Михей вообще очень любил, когда им гнушались; это доставляло ему большую радость и независимость. Не раз он обнажал свою пустоту на людях, любуясь собой и их отвращением. А на этот раз «обнажение» спасло ему жизнь. Михею так нравилось об этом вспоминать, что он все время блаженно скалил зубы и

подхихикивал. Ему пришло в голову и в дальнейшем защищать свою жизнь таким странным образом, особенно от бандитов.

К Федору же он чувствовал такое благорасположение за содеянное, что считал его неким богом самим по себе, хотя иногда ласково его журил.

Под вечер друзья совсем разнежились.

Михей рассказал Федору о своих странных отношениях с сектой скопцов, которая в «большой тайне» образовалась в этом пригороде-селе; потому он и сам здесь поселился.

Михей совершил изувечие еще до своего знакомства со скопцами, «независимо», «по своей волюшке и хотению». Но случилось так, что об этом пронюхал жирный, с вывороченными глазами скопец, который решил, что Михей это сделал «из умствования», по «ихнему». Михей для благообразности со всем соглашался и ненароком проник в потаенную скопческую секту, найдя там уют.

Сам Михей к секте относился иронически, считая скопцов не «белыми голубями», как они себя называли, а воробышками; Господа или Творца вселенной Михей, обтирая крошки со рта, любовно называл «хозяином», но внутренне считал, что сам он не имеет к Творцу никакого отношения. А о скопцах-сектантах говорил так: «это они все для Хозяина свой член обрываю... А я сам по себе, я свою особую загадку имею и по ней решаю, что мне обрывать, что оставлять». Но все-таки к скопцам он относился безвредно, жалеючи их. Остальных же людей Михей почти не признавал.

Оказалось, что Федору повезло: скопцы почему-то очень доверяли Михею и он заранее договорился, что приведет на радения, поручившись за него, своего старого друга, которого Михей представил как «духовного скопца», то есть фактически члена секты, но другого «корабля» и другого направления.

Жуткий и свирепый вид Федора мало напоминал вид «духовного скопца» или «белого голубя», но Михей любовно причесал Федора, стараясь придать его мрако-изуверскому лицу благостный вид. Потом сказал, что сойдет.

Под ночь, когда все село спало, Федора с Михеем впустили чрез калитку невероятно высокого, словно вечность, забора, во двор одного дома, хозяин которого был «главный» скопец. Узкая, временами теряющаяся тропинка вела вглубь сада, в скрытую, черную баньку. Здесь в спертом помещении с маленьким одиноким окном происходили радения.

Михей пошептался с человеком, развалившимся на скамейке,

перед банькой; представил Федора, который, осклабившись, прошипел несколько терминов, сообщенных ему Михеем.

Нагнувшись, Михей с Федором прошли внутрь. Оказывается радение было в полном разгаре и на вошедших не очень обратили внимание. В углу виднелись православные иконы; а между ними, в центре, портрет самого «родимого батюшки», «вторично пришедшего Христа» Кондратия Селиванова.

Лицо старца выглядело умиленным; в руке — белый платочек; казалось Кондратий — с того света — любуется своими «детушками» и, глядя на них потусторонними очами, радует свое сердце.

Между тем сектанты — их было человек семь — липко вертелись на одном месте; извивались лишенными детородных частей телами; белые их рубахи развевались, как саваны; желтые, высохшие лица, освещенные мертвенными, восковыми свечами, ползли вверх, к Господу; пот заливал дрожащую, точно сползающую кожу; глаза вылезали из орбит, пытаясь поймать загробный взгляд Кондратия Селиванова. Кто-то визжал:

Скачу, скачу, скачу

Христа ищу, ищу! — и на четвереньках скакал по углам, обрывая пустоту.

Михей сидел смирехонько, на скамейке, сложив ручки, с благостно-блудливым выражением лица; к его тихой роли видимо привыкли. Соннов сидел рядом мертво поворачивая голову по сторонам. Около его ног прополз взмокший, судорожно-сморщенный старик со строгими глазами.

Ползу, ползу, ползу

Ко новому Христу! — сердито шипел он, волочась по полу.

Из-под узенького окна раздался визгливо-небесный, истеричный бабий голос:

Как у нас на Дону
Сам Спаситель на дому,
И со ангелами,
Со архангелами.

Голос замолк, а потом в баню вползла точно сгоревшая, дрожащая женщина, почти голая; груди у нее были отрезаны, зато виделись засохшие черно-красные раны-рубцы.

Федор сначала тупо глядел на молящихся, потом вдруг все исчезло, и ему показалось, что его существование заполнило собой всю эту баньку и даже вывалилось во вне, на пространство; больше никому не осталось места.

Он опомнился только тогда, когда все было кончено.

Михей схлопотал где-то в доме чайку и занес с каким-то детиной

стол; покрыл его белой скатертью; тут же появились и принадлежности чаепития: самоварчик, чашечки.

Усталые, потные, но миролюбивые скопцы благодушно расселись попить... Один Федор молчал, чем навел на всех мысль о своей недоступности.

...Утром, возвращаясь с Михеем по шоссе, Соннов пел себе под нос какую-то суровую песню. Это был показатель хорошего настроения.

Правда, скопцы произвели на него весьма жалкое впечатление. К тому же все общее, объединяющее людей казалось ему глупым и детским.

«Свое, свое надо иметь», — глухо бормотал Федор, отбрасывая ногами подворачивающийся мусор.

Вспоминал об Анне, о Падове. «Эти вот люди...». А «свое» он чувствовал таким необъятным и громадным, что ему было трудно его с чем-либо сравнивать...

— Все-таки это лучше совсем обнакновенных... Кто в школу ходит, — прошамкав, проговорил Михей.

— Ну об этих мы и не говорим. Это просто грибы, — ответил Соннов.

Наступал новый день. Насчет убийств Федора немного отпустило. А когда всуе он подошел к покосившемуся домику старушки Ипатьевны в окне виднелась человеческая фигура. То был Анатолий Падов.

IV

Как только Падов — почти месяц назад — приехал в Москву, покинув Лебединое, то, чтобы подкрепить свои силы пред ужасом жизни, он бросился на кладбище, около В. Здесь его уже давно знали. Могильщики приветствовали Толю радостными, мертвоутробными криками. Несколько дней он провел у них, пьянствуя, помогая рыть могилы, ночуя где-то по закуткам, чуть ли не в самой церкви. Могильщики — простые, скудоумные, но уже тронутые углом тления ребята — считали его «беженцем». Им очень нравилось, что он рыл могилы хохоча.

На этот раз Падов уговорил их оставить его на одну ночь в подвале вместе с покойницей, молодой, блаженной девушкой лет семнадцати. От радости Падов так напился, что эта ночь прошла не совсем на уровне.

Все же он при свечах читал по памяти стихи Блока над ликом отошедшей; щекотал ей пятки; с лупой всматривался в глаза.

Наутро девушку хоронили; Падов шел за гробом и рыдал: до того нестерпим был внутренний хохот; к тому же ему теперь истерично казалось, что именно эта девушка уведет его в «Елисейские поля». Девушка и правда даже в гробу выглядела сексуально, конечно с мистическим оттенком. Под конец он чуть не подрался с одним неказистым, исключительным могильщиком, почему-то принимавшим всех покойников за себя. За свою трехлетнюю службу этот могильщик совсем ошалел, полагая, что все время хоронит самого себя. Он даже не понимал где и в каком состоянии сейчас находится, так как считал, что с каждой новой смертью уходит в следующий загробный мир и таким образом оказывается на том свете в степени, примерно равной числу себя-покойников, которых он хоронил.

Естественно, он думал, что невероятно удален от мира.

Однако приставание Падова к мертвой девушке, наглое и беспрецендентное, он принял на свой счет. (Могильщик решил, что в лице покойницы Падов хочет переспать с ним самим.) Из-за этого и произошел инцидент. Крикливая история, впрочем, еле замялась; но Падову она принесла большую радость и успокоение.

Чтоб совсем закрепить жизнестойкое состояние, Падов стал ездить на бойню; здесь, подружившись с резунами, он подставлял свой рот под теплую, живую кровь тела, выпивая в день по две-три кружки крови.

Это немного утешило его, но ненадолго. Общество своей души и людей того же мира терзало Падова. Он боялся, что сойдет с ума.

Поэтому метаясь, он заехал в Лебединое и, не найдя Федора, получил от Клавы какую-то записку и адрес «малого гнезда».

Рано утром он и оказался в этом малом гнезде. Ипатьевна встретила его дружелюбно и обласканно, словно свою кошку. А когда пришел Федор, Падов, внимательно всмотревшись в него, ужаснулся.

Федор тотчас его узнал, каким-то ублюдочным взглядом просмотрев насквозь.

Молча взял записку от Клавы, развернул ее, увидел знаки, и не раздеваясь, в портках, завалился в постель.

Федор иногда любил спать одетым, словно ему нравилось отчуждение от сна. Тело его в это время лежало неподвижно, а голова ворочалась, как живая...

Ко дню все трое — Федор, Падов и Ипатьевна — переспавши, пошли во двор пить чай.

Дворик был неуютно-загаженный, обнаженный, у всех на виду, да и небо его прикрывало как-то широко и глубоко, со всех краев. Одинокая досчатая уборная стояла, словно вышка, в конце двора. Травушка была пыльная, жиденькая, точно земля облысела; вычищенный, серый скелет подохшей кошки, как ненужная палка, валялся посередине; недалеко притулился покареженный на бок стол.

Ипатьевна, кряхтя, первая присела; она уже с раннего утра напилась кошачьей крови и теперь довольствовалась черным хлебушком. Соннов ел самодовлеюще-утробно, не обращая ни на кого внимания; Толя курил, скаля зубы и радуясь солнышку.

— Многое мне о вас наговорили, Федор Иванович. Особенно Аннушка, — промолвил он.

Федор промолчал.

— Значит, в Лебедином все хорошо, — наконец проговорил он сквозь зубы.

— В отличии, — ответил Падов и рассказал кое-что, тихо, уютливо, и в озарении.

Федор чуть оживился.

— Ну, а Клавуша прыгает не по-человечьи иль как? — пробормотал он.

— Не знаю. Может только в одиночестве, — улыбнулся Толя.

Федор довольно проурчал, любуясь словом «одиночество». Ипатьевна смотрела на обоих востро, сумашедше-сморщенно и как бы через платок. Забыв обо всем, она совсем распустилась, обнажив старческие телеса.

— Ну, а как эти... шуты, которые собачек и птичек резали, — спросил Федор, вспомнив Падова, Анну, залитую солнцем поляну и пролитие крови на ней.

— А, а, — рассмеялся Падов. — Шуты распались. У каждого из них своя судьба. Пырь совсем отошел: стал главарем обыкновенной шайки... детишек лет шестнадцати, остервеневших от пустоты... Они теперь по подворотням людей режут. Просто так... Волкуют... А Иоганн пролез в монастырь: очень ему жаль стало птичек и крыс. На этом и отключился. Грехи замаливает... и по ночам, в темноте молится, но не Богу, а крысам своим убиенным... Один Игорек остался... Ну этот ловкий, ангелочек... Скоро появится в Лебедином... Его кой-чему научили, он теперь не совсем шутливый...

Федор блаженно собачил пасть; хмурился, как кот, на Падовские слова, наконец, встал.

— Пойдем погуляем, Толя, — проговорил он, а на Ипатьевну шикнул, чтоб сидела на месте и не вставала.

«Ишь пристальная, — подумал Федор. — Сиди и соси кошек».

Вышли на улицу. Полил тихий, успокоенный дождик. Люди жались к мокрым заборам. Федор простуженно выпячивал нижнюю челюсть: ловил капли дождя.

Толя отметил, что Федор ничего не замечает вокруг. Но у колодца, споткнувшись, Федор вдруг застыл взглядом на кучке людей: не то баб, не то мужиков, но совсем обычных. Глаза его остекленели, точно он увидел потустороннее. Сплюнув, Федор тяжело переглянулся с Падовым.

Толя хихикнул, и скоро они скрылись во мгле завороченной, с тьмой вместо окон, пивной.

В углу, у заплеванного полу-трупными выделениями столика, посторонe и бесшумно присели. Из-за неудобства помещения и туч на воле была такая темень, что лица людей белели, как в глуши, своей непосредственностью и оскалом.

Федор тяжело вглядывался в Толю; но в уме выплывал Михей и то, что он его не убил; Падову стало чуть легче: от этого присутствия чужой тяжести не так мучило свое.

Федор всуе суживал свое сознание до неадекватного, тупосонного луча; потом глаз его упал на жирную спину пьянообабившегося человечка. Эта спина маячила рядом. Федор сделал резкое движение рукой; она опустилась где-то около шеи пьяного и тот грузно, ничего не понимая, рухнул на землю, словно уснув.

Падова поразило движение Федора: оно точно имитировало удар ножом.

— Ну вот и еще один мог бы отправиться... — пробормотал Федор, обращаясь к Падову.

— Куда?! ...К Господу под крылышко?! — взвизгнул Падов.

Федор удовлетворенно качнул головой.

У Толи не мог выйти из сознания этот удар, почему-то до ужаса, сверхреально воспроизводивший удар ножом. Даже настоящий удар ножом не был бы так реален в своей сути как этот. Падов связал его с видимым отношением Федора к другим существам.

— Федор Иванович, а вы могли бы убивать? — в лоб, схода спросил Падов.

Федор вдруг вздрогнул и захохотал.

Падов полубессознательно оценил это как внутреннее согласие.

Ему захотелось испытать Федора. И он лихорадочно, в ярких,

неожиданных мазках, нарисовал Федору общепринятую картину первых ступеней загробной жизни; особенно сосредоточил внимание на неизбежном, почти автоматическом возмездии; возмездии за совершенное зло в этой жизни, тем более за убийство.

— Суета сует все это, — равнодушно среагировал Федор, прожевывая лапшу.

Падов тихонько завыл от восторга; но продолжал расспрашивать, хотя Федор, по земной мерке, был явно не адекватен.

— И возмездия не боитесь!. — воскликнул Падов, улыбаясь пивку.

— Какое там возмездие, — проурчал Федор. — А если и есть, так что ж из этого? ...жизнь и так возмездие.

Но Падов искал полного понимания; постепенно, задавая резкие, интуитивные, мистически взрывные вопросы, он обнаружил картину, от которой его мысли становились дыбом, разумеется от восторга. Не составляло труда переводить тяжелодремучий язык и молчание Федора на обычный метафизический язык.

Падов открыл для себя, что для Федора, вероятно, убийство было символом душегубства, душеубийства; хотя Федор как-то по-особому верил в иной мир, но здесь видимо это было для него убийством души, попытка добиться распада загадки.

Возможно, думал Падов, поскольку это убийство происходило главным образом в духе (хотя и сопровождалось, может быть, «обычным убийством») Федор ничего не боялся и не задумывался об эмпирически-послесмертном возмездии; духовное же возмездие — это нечто такое, что включалось даже в теперешнее состояние Федора и которое он не принимал во внимание, настолько потусторонни и непонятны, но внутренне реальны, были его духовные цели, к которым он шел, не фиксируясь на мелочах.

Падов с радостью видел, что Федора не страшит ничто эмпирически-загробное, так как его потустороннее лежит по ту сторону нашего сознания, а не по ту сторону жизни. Кроме того, в какой-то степени он был потусторонен самому потустороннему.

Это выглядело и более истинным и более величественным; Падов чувствовал, что Федор «их», что мракопомешательство — высокого качества, как и говорила Анна; он трепетно ощущал, что Федор — сам такой ужас, что пред ним мелки все ужасы послесмертной повседневности, а тем более здешние плачи и возмездия.

«Чего Ужасу бояться мелких ужасов», — думал Падов.

Иногда он грозно чувствовал, что Федор противопоставил себя мировому порядку.

Наконец, в исступлении, уходящим внутрь, оба они — Падов и Федор — пошли к выходу, на улицу. На стенах пивнушки оставались пятна дум, желаний, страстей. Рвано-измученный инвалид полз за ними до самого выхода. А потом, вдруг появившееся солнце ударило им в лицо, точно оно было не теплым, а зловещим предзнаменованием.

У Падова начал вертеться в голове вопрос: убивал ли Федор в «действительности», вернее в быту?!

Мистически, в потайной глубине, он был уверен, что «да». Но до человеческого, внешнего сознания он не допускал эту мысль. В конце концов он чувствовал, что эти «да» или «нет» не так важны, ибо в Федоре он видел прежде всего — метафизического убийцу, цель которого полностью вытеснить людей и все человечество из своего сознания, чтобы даже само представление о существовании других людей стало пустым... И так же как обычный убийца вытесняет людей из внешнего мира, так Федор вытеснял людей из своей души. А сопровождалось ли это метафизическое вытеснение обычным, параллельным убийством или нет, думал Падов, — существа дела не меняло.

— Поедете ли вы в Лебединое? — неожиданно спросил Падов у Федора.

Федор промычал. А потом, в доме, у Ипатьевны, когда из-под кровати вылез мальчик, добывающий ей кошек, выяснилось, что Федор приедет в Лебединое спустя. Он сказал это, сидя на табуретке, когда расширенными глазами смотрел в пол.

Но Падова потянуло в Москву, к вихрю, к друзьям, к знакомому мистицизму, а потом — непременно — в Лебединое. Ему захотелось совместить в своем уме и Федора и «старое». «Поеду-ка я к Ремину», — решил он.

Раскланявшись промолчавшей в пустоту Ипатьевне, Падов исчез.

V

Геннадий Ремин принадлежал к тому же поколению, что Падов. Он считался одним из лучших подпольных поэтов, но некоторые циклы его стихов не доходили даже до его разнузданных поклонников; кое-что, например, сборник «Эго — трупная лирика», он хранил в ящике, никому не показывая.

Через учеников Глубева он познакомился в свое время с религи-

ей Я. И возгорелся душою. Он глубоко ощущал некоторые теоретические нюансы этой подпольной метафизики.

Его восхищало, например, главное положение новой религии о том, что объектом поклонения, любви и веры должно быть собственное Я верующего. Однако, по этим Я имелось ввиду прежде всего то, что раскрывалось как бессмертное, вечное начало, как дух. «Я» являлось таким образом абсолютной и трансцендентной реальностью. И в то же время оно было личным Я верующего, но уже духовно реализованным. Мое бытие в качестве человека понималось следовательно лишь как момент в моем вечном самобытии.

Второй принцип, который особенно привлекал Ремина, заключался в том, что на всех ступенях бытия собственное Я остается единственной реальностью и высшей ценностью (поэтому понятие о Боге, как отделенной от Я реальности, теряло смысл в этой религии). С другой стороны, ценность имели все формы самобытия (связанные с высшим Я единой нитью) — если любовь к ним не противоречила любви к высшему Я.

Таким образом, это учение оказывалось по некоторым своим моментам близким к солипсизму, но к довольно особенному солипсизму, не ординарному. Огромное знание имела мистическая бесконечная любовь к Себе. Сверхчеловеческий нарциссизм был одним из главных принципов (и, видимо, был аналагом той глубочайшей любви Бога к Самому Себе, о которой говорили средневековые мистики).

Определенного рода медитации и молитвы направлялись к высшему Я, т.е. по существу к потусторонней реальности, которая в тоже время являлась собственным Я (или его высшей формой), скрытым в данный момент.

Следовательно, это не было религией эгоизма (ибо эгоизм — предательство по отношению к высшему Я) или религией обожествления человека или личности (так как высшее Я как трансцендентное, запредельное выходило за круг человеческого существования). Но эта религия (точнее метафизика) не соответствовала и учениям, основанным на идее Бога, включая и тот их вариант, когда под Богом понималось высшее «Я»: ибо в этом случае абсолютизировалась только та сторона Я, которая тождественна Богу, в то время как религия Я, связанная с особым видом солипсизма, шла гораздо дальше...

Ремин верил, что многие органические положения этой метафизики близки к глубинной сути его души; он чувствовал, что, наконец, нашел нечто настоящее для себя... но он не мог долго

быть в этом: он не выдерживал всей бездны такой веры; его мучили различные сомнения и страхи; он впадал в истерику; и наконец внутренне отходил от религии Я, удаляясь в метафизическое «безумие», столь милое сердцу Анатолия Падова.

Падов, вернувшись от Федора в Москву, начал разыскивать Ремина... Ему хотелось затащить его в Лебединое.

Ночь Толя провел в своей московской, мрачной и узкой комнате, в окно которой не раз взбираясь по трубе, заглядывал Пинюшкин — странное существо, так боявшееся самого себя, что его тянуло все время вверх, на крыши. На сей раз Толя проснулся рано утром: и в полуутренней, загадочной тьме, готовой разорваться, спонтанны и неожиданны, как духи, были зажегшиеся в окнах больших домов огни. Холод воскресения после сна укалывал сознание Падова.

Чуть непонятный для самого себя он вышел на улицу, вдруг понадеявшись увидеть Ремина в самой ранней московской пивнушке, на Грузинской улице.

Подойдя, глянул в ее мутные, но необычайно широкие окна, и увидел, что она почти пуста. Но за одним столиком, прямо рядом, у окна, среди лохмато-крикливой, точно рвущиейся на потолок, компании Падов увидел Ремина. Он сидел облокотив свою поэтическую, пропитую голову на руку. Другие были полунезнакомые Падова: четыре бродячих философа, которые, вместе со своими поклонниками, образовывали особый замкнутый круг в московском подпольном мире. Вид у них был помятый, изжеванный, движения угловатые, не от мира сего, но общее выражение лиц — оголтело-трансцендентное.

На одном личике так прямо и была написана некая неземная наглость, точно ничего вещественного для этого типа не существовало. Он постоянно плевал в свою кружку с пивом. Его звали почему-то женским именем Таня, и хотя вкрадывалось впечатление, что его все время бьют какие-то невидимые, но увесистые силы, выглядел он по отношению ко всему земному истерически-нагло, а вообще — замороченно.

Другой философ — Юра — был очень толст, мутен, словно с чуть залитыми глазами аскета, вставленным в трансцендентно-облеванную свинью; кроме того ему казалось, что его вот-вот зарежут.

Третий — Витя — был вообще черт-те что: все пункты его лица стояли торчком, а душа по существу была сморщена.

Про него — шепотком, по всем мистически-помойным уголкам Москвы — говорили, что Витя не единственный, кто воспринял

в своем уме «мысли» Высших Иерархий, но тяжести оных не выдержал и ...одичал.

Четвертый философ был почти невидим...

Между тем Толя с радостным криком вбежал в пивную.

Юра как раз заканчивал свою речь об Абсолюте.

— Господа, нас предали! — закричал Падов.

— Кто?

— Абсолют. Только что я узнал.

Друзья расцеловались. Ремин прямо-таки повис на шее у Падова. А Таня даже завыл от восторга: он очень любил метафизические сплетни.

Толя присел рядом.

Сморщенный Витя смотрел на него одухотворенно-скрытыми глазками; несколько раз он что-то промычал и, изогнувшись, с шипением, упал под стол. Тот, почти невидимый, принял это за знак.

— А ты все в тоске и водке, Гена!? — начал Падов...

Ремин смотрел на все вокруг просветленно чистыми от спирта глазами.

Соберутся мертвецы, мертвецы
Матом меня ругать,
И с улыбкой на них со стены
Будет глядеть моя мать, — пропел он, устремив взгляд кудато в сторону.

— А у Абсолюта рука тяжелая, — проговорил Юра, пугливо озираясь на облачка за окном. — Сила Его в том, что Его никто не видит, но зато здорово на своей шкуре чувствует...

За столом да в телогрейке сидит
Черный, слепой монах,
Надрываясь, ребенок кричит,
Кем-то забытый в сенях.

Я не хочу загадывать.
Когда я здесь умру... — продолжал Ремин.

— Да ты больше всех пьян, — перебил его Падов. — И совсем не вписываешься к философам. Пойдем-ка, надо поговорить.

Из-под стола вылез сморщенный Витя и строго на всех посмотрел.

Простившись с бродячими, Падов вывел своего друга на улицу и повел его в садик; немного спустя Ремину стало легче.

Через некоторое время они оказались у своего знакомого, в серой, непривычной комнате, за которой — с балкона — виден

был уходящий, растерзанный простор. «Недаром даль и пространство давно стали инобытием русского Духа», — подумал Падов. В комнату зашли не спросясь: она значилась всегда открытой для подполья. Хозяин спал на диване: почти все время он проводил во сне, тихо с загибанием рук, наблюдая свои сны. На его спине можно было распивать водку. Рот его был полуоткрыт, точно туда вставила палец вышедшая из его сна галлюцинация.

Падов, в дерганьях и озарении, рассказал Ремину о Лебедином. Гена, обласканный словами о Федоре и Клавуше, заснул у Падова на груди.

На следующее утро решили ехать в «гнездо».

VI

Вскоре в Лебедином творилось черт знает что.

— Съехались, съехались... съехались! — громко кричала и хлопала в ладошки, глядя прямо перед собой непонятными глазами девочка Мила.

Действительно, в Лебедином находились, кроме хозяев, куро-трупа и Аннушки, еще Падов с Реминым и ангелочек Игорек, из садистиков. Шальной и развевающийся, точно юный Моцарт, он носился по двору, готовый обнять и прокусить все живое.

Анна, ласково улыбаясь, смотрела на свое дите. И Клавенька была рядом. Дело в том, что решили справлять появление куро-трупа. Уже всем стало ясно, что сам Андрей Никитич давно помер, но однако ж, вместо того, чтобы умереть нормально, произошел в новое существо — куро-труп. Вот рождение этого нового существа и собрались отметить в Лебедином. Сам виновник торжества выглядел неестественно-оголтело и возбужденно, но очень мертвенно, из последних сил, точно он метался в шагающем гробе.

Полагая, видимо, что он на том свете, куро-труп стал хулиганить, точно после смерти все дозволено. Он, забыв обо всем, дергал деда Колю за член, называл его «своим покойничком» и показывал язык воробьям.

— Где смерть, там и правда, — умилялась, глядя на него, Клавуша.

Посреди двора разостлали черное одеяло; около него и намеривались отмечать. Собрались все, даже девочка Мила. Только Петенька хотел спать; он бродил по углам двора и прижимая руки

к груди, пел: «баю-баюшки баю...». Но в руках у него ничего не было; и Ремин ужаснулся, догадавшись, что Петенька убаюкивает самого себя... Баю-баюшки- баю... Под конец Петенька свернулся под забором и, мурлыча самому себе колыбельную песенку, задремал.

Куро-труп сидел в сарае, противоестественно, из щели, вглядываясь в праздненство.

После обильной еды многих потянуло на томность, на воспоминания. Помянули мужа упокойницы Лидоньки незабвенного Пашу Краснорукова, в свое время из ненависти к детям ошпаривавшего себе член. Оказалось, что теперь он отбывает свой долгий срок в лагере, но весьма там прижился.

— Для него главное, чтоб детей не было, — вставила, вздохнув Клавуша. — А какие в лагере дети... Так он, говорят, Паша, там вне себя от радости... Нигде его таким счастливым не видали.

— С голым членом на столбы лезет, — угрюмо поправил дед Коля. — Но зато взаправду счастливый... Ни одно дитя еще там не встретил... И вообще здесь, говорит, в лагере красивше, чем на воле...

Тьма нарастала. Глаз куро-трупа стал еще противоестественней и невидимо блистал из щели.

Неожиданно, во весь рост поднялась Клавуша. Ее медвежье-полная фигура выросла над всеми, разбросанными по траве; в руке она держала стакан водки.

— А ну-кась, — проговорила она грудным голосом, — хватит за Андрея Никитича покойника пить... Выпьем за тех... в кого мы обратимся!

Все сразу взвинтились и вскочили, как ужаленные.

— Ишь, испугались, — утробно охнула Клавуша и отойдя чуть в строну, стряхнула мокрые волосы.

— Клавенька, не буду, не буду! — завизжал садистик-Игорек...

Дед Коля вскочил и побежал за топором. Девочка Мила ничего не понимала.

А Падов и Ремин, покатываясь, подхватывали с восторгом:

— Своя, своя...

Аннушка тут как тут оказалась рядом с Клавушей.

— Ну что ж... я за свое будущее воплощение выпью, — нежно извиваясь, пробормотала она. — За змею нездешнюю!! — и она всей силой прижалась к потному и рыхлому брюху Клавы.

Игорек пополз к ногам Клавуши и поднял вверх свое ангельское, белокурое личико: «за мошку, за мошку — выпью!» — прошамкал он и глаза его почернели.

Клавуша стояла величественно, как некая потустороняя Клеопатра, и только не хватало, чтоб Игорек целовал ее пальцы.

Вдруг раздался странный невероятный вопль и треск ломающихся досок. Из сарая выскочил куро-труп. В руках его было огромное полено.

— Загоню, загоню! — завопил он, но так нелепо, что все не знали куда посторониться.

Игорек юркнул за бревно.

Между тем на лице куро-трупа было написано явное и страшное страдание, но чувствовалось, что причина его совершенно непонятна для него самого. Казалось, что он совсем оторван от тех, кого хотел разогнать; может быть, он имел ввиду каких-то иных существ, которые виделись ему в собравшихся на празднество.

Бросив полено, выпятив глаза, с какими-то застывшими полуслезами, он размахивал руками, стоя на месте.

Это страдание, обрученное с полным отчуждением от внешней причины, вызвавшей мучения, производило особенно жуткое и разрушающее впечатление.

Все старались не смотреть на эту картину.

Клавуша, вильнув задом, ушла за угол дома, где стояла бочка с водой. Вскоре все оказались как-то в стороне и куро-труп внезапно умолк, точно в его уме захлопнулась какая-то дверца.

Мертвая тишина, прерываемая робким щебетом птиц, царила в наступающей тьме.

Лишь дед Коля, который сбег еще до того как из сарая выскочил куро-труп, одиноко плясал перед окном своей комнаты.

И когда все расходились по норам спать один только садистик Игорек робко остановил на тропинке Клаву.

Желая излить душу, он как бы прильнул к пространству около ее тела и тихо прошептал:

— Ведь правда самая ненавистная в жизни вещь — это счастье? ...Люди должны объявить поход против счастья... И тогда они увидят новые миры...

Игорек поднял руку вверх, пред добродушною Клавой, померк бледным лицом и исчез в сторону.

«Ушел мраковать», — подумала Клава.

VII

Падов и Аннуля между тем прошли в одну комнату и заперлись там. Попив чайку, они разговорились о потустороннем. Аннушка

вообще страсть как любила отдаваться мужчинам, которые отличались наиболее бредовыми представлениями о загробном мире. А в этом отношении Падов мог дать кому угодно сто очков вперед.

Но сейчас у него было темно-слабое, нежное состояние, вызванное желанием чуть утихомириться после празднества в Лебедином. И он поначалу погрузил Аннушку в уютный, мягонький мирок чисто инфантильных представлений о будущей жизни. Размягченный, в ночном белье, Падов в покое бродил по комнате и приговаривал:

— Я чайку попью, попью, Аннуля, а потом опять вспомню, что могу помереть.. И не пойму, не то сладко становится от этого, не то чересчур страшно...

В этот момент самое вребя было отдаваться и Падов с Аннушкой чуть истерично, но и с умилением соединились..

Отряхнувшись, а потом и опомнившись, Аннуля грезила в кроватке, рядом с Падовым.

Но теперь им почему-то хотелось безумства, сумасшествия, словно мысли отрывались от блаженности тела.

Тон задавал Толя.

Он особенно упирал теперь на то, что де в ином мире все будет не так, как в учениях о нем. Что, дескать, и инстинктивное ясновидение и посвящение и учения обнимают, мол, только жалкую часть потустороннего, причем и эта часть — вероятнее всего — неверно интерпретирована. Это неизбежно, подхихикивал Падов, ведь если люди так часто неправильно понимают этот мир, то что же говорить о других.

Анна подвывала от восторга. Такой взгляд помогал им напускать на потусторонее еще больше туману и кошмаров, чем в любом самом мрачном и жестоко-отчужденном учении.

В таком состоянии они, прижимаясь друг к другу, поглаживая нежные тельца, в полу-сладости, очень любили копаться в разлчных детальках потусторонних миров, развивая отдельные, известные положения или переделывая все по собственной интуиции.

Толя, когда входил в экстаз, даже чуь подпрыгивал, мысленно совокупляясь с Высшими Иерархиями. А Аннуля кричала: «безумие, безумие!».

Великолепен же был их вид, в кроватке, когда они высовывали из-под одеяла свои голенькие тела и кричали друг на друга: «безумие, безумие!»

Успокоившись, они опять разжигали воображение, пытаясь

представить себе как они будут выглядеть «там», о чем будут думать, чем станет их сознание; яростно уклоняясь от «простого» понимания послесмертной жизни, как более или менее адекватного продолжения (в другой форме) этой, они представляли себя в конце концов превращенными в некие нечеловеческие существа, живущие черт знает где и черт знает как, и уже потерявшими всякую связь с теперешним. Они пытались проникнуть как «они»—теперешние, настоящие — могут быть совсем другими, как «их» не будет и в то же время «они будут».

Потом, мысленно возвращаясь к земле, подвизгивая, в потаенном страхе целуя друг друга, они пытались предвосхитить все нюансы своего состояния при переходе из этого мира...

Аннуля представляла себя в том виде, когда впервые после смерти к человеку возвращается сознание и он, незримый для живых, еще может видеть этот мир, но в качестве мира «теней»; ей почему-то до спазмы становилось жалко свой труп, который она могла бы увидеть с того света.

«Я украшу его загробными цветами; или сяду на нем верхом, невидимо; вперед, вперед... в просторы», — бормотала она в Толино ушко.

Толя задергался и прошипел, что его давняя мечта — совокупиться с собственным трупом; и что он уже сейчас чувствует теплый холод этого акта.

После этого они, Падов и Анна, соединились еще несколько раз.

...А наутро, в глубоких и мягких лучах вялого и негреющего солнца, они выглядели устало и упадочно.

Игорек, желая угодить своим мэтрам, подавал им кофе в постель.

А Толя, любивший после безумств и взлетов, уходить в тягучий и беспросветный маразм, лежал и не вынимая члена из тела Анны, дремал, попивая кофеек...

Весь день прошел в какой-то тягучести.

А под вечер Падова стали преследовать видения. Да и сам дом Сонновых, с его закутками, шизофренными углами и трансцендентно-помойными занырами, способствовал появлению «невидимых». К тому же все (под вечер!) собрались почему-то по грибы в лесок и Падов остался один в этом доме.

Сначала ему казалось, что из какого-нибудь угла кто-нибудь внезапно выйдет, но не человек, а скорее «нечто» или в лучшем случае выходец с того света.

Но он постарался связать пространство со своим сознанием.

И ему стало видется что-то совсем нечеловеческое, но что зато втайне предчувствовалось им в душе.

Сначала смутно проявилось какое-то подполье потусторонности; потом стали выявляться и существа, обитатели...

Первым появился тип, чье существование заключалось в том, что ему один раз в миллион лет разрешалось пискнуть причем не более минуты; все же остальное время, промежду этих писков, он был в полном небытии. Этот замороченный толстячок как раз и появился на свою единственную минуту; несмотря на это вел он себя необычайно многозначительно и даже напыщенно; видно было, что он очень крепко держится за свое право пискнуть и крайне дорожит этим...

И другие видения, одно страннее другого, вереницей проходили перед ним.

Под конец Толе показалось, что он видит «существо» из того мира, который «лежит» за конечным миром всех религий и оккультно-мистических открытий.

Взвизгнув «хватит!» Толя вскочил с постели и закричал. Все рассыпалось по тайным уголкам реальности. Но из вне доносился страшный, громовой стук в ворота.

Взвинченный таким резким переходом из скрытого мира в видимый, Толя, пошатываясь, пошел на стук.

Он открыл ворота Сонновского дома и увидел пьяного мужичка, а за ним... робко улыбающегося... Евгения Извицкого.

— Вот это встреча! ...Как ты нашел Лебединое!? — вскричал Падов, обняв друга.

Мужичок, поцеловавшись с деревом, исчез.

— Да Аннуля в тайне письмишко тут написала, — сконфуженно проговорил Извицкий, метая острые взгляды на Падова.

Но Падов, не давая ему опомниться, проводил в комнаты, показывая углы, где только что ему виделись «невидимые».

Извицкий жался в себя; это был чуть толстенький человек с взлохмаченной головою, примерно одного возраста с Падовым; глаза его горели каким-то внутренним, мистическим и вместе с тем сексуальным огнем; кожа лица была нежная, но не женственно, а как-то по своему, особенно.

Вместе с Падовым и Реминым он образовывал довольно своеобразный треугольник. Говорили, что, как и Ремин, он был одно время в некоторой связи с религией Я.

Вскоре вернулись и путешественники за грибами, кроме Анны: она уехала на день в Москву. Зажглись огни в Сонновско-Фомичевском доме: словно духи задвигались во тьме.

Девочка Мила спрятала свои грибы в ночной горшок; мутноскрытые глаза Петеньки смотрели на Извицкого из щели. Даже куро-труп принес один гриб. А Извицкому было нехорошо: он рвался к себе, в душу, во внутрь, или на худой конец к общению с Падовым и Реминым. Даже Клавуша не очень удивила его.

«Лучше своя вошь, чем Дары свыше», — все время бормотал он про себя и отходил в сторону.

— Ускальзает, ускользает Женичка от нас, — приговаривал Ремин.

Долгое время все как-то не могли найти контакт и шатались из стороны в сторону, точно неприкаянные.

Гена в уголке «раздавил» поэтическую четвертинку. Потом к нему присел, чего-то нашептав, Толя.

Между прочим, про Извицкого в Москве ходил какой-то изуверский, со стонами из-под домов слух. Что, мол, Женя замешан в некой страшной истории, дикой и исступленной, связанной может быть с культом дьявола. Другие, однако, считали такое объяснение профаническим и говорили об отрицательном, чудовищном пути к Богу, в том числе через богохульство.

А одной старушонке, соседке Жени, привиделось после разговора с ним явление, по ее словам, ангела, и что ангел де подмигнул ей и сказал, что спасения не будет.

Слухи, с обязательными русско-юродивыми оттенками, обрастали нелепо-метафизическим комом, и уже твердили, что полудохлая, больная кошка, которую не раз замечали около Жени, — воплотившийся дух маркиза де Сада. Кто-то, из совсем юных, начал уже ей поклоняться и пал перед ней на колени.

Воображение взвинчивалось. Дело еще усугублялось тем, что по слухам — в «истории» участвовала странная девочка лет одиннадцати-двенадцати, которую Извицкий нередко приголубливал и выделял.

Вспоминали, что Извицкий не раз говорил про эту девочку, что она «наполнена светом».

И взаправду, в некотором роде девочка действительно светилась: ее бледное лицо с чуть выпяченной челюстью и гнилыми зубами прямо-таки озарялось каким-то молниеносным, подпрыгивающим вдохновением, а глаза в ощеренном, одухотворенном личике точно вылезали из орбит, когда она радовалась Невидимому и своим мыслям.

Говорили, что духовно она постоянно вращается вокруг себя и ей многое дано...

Так или иначе точно или даже в близком приближении эту историю никто не знал.

Возможно все происходило не так или с другим подтекстом. Но юродивенькие, влюбленные в себя слушки росли, докатываясь до самых потаенных, подвально-метафизических уголков Москвы.

Такова была молва об Извицком.

Наконец, сбросив бред неловкости, друзья — Ремин, Извицкий и Падов — собрались, когда все остальные сонновские обитатели уснули, на втором этаже, в глухой комнатушке, с полузабитым окном.

Только свеча освещала их лица.

Извицкий по отношению к друзьям внешне был мягок и нежен. Падов хохотал, глядя на пятна по стенам.

Ремин, прикорнув в кресле, покачивался в такт своим мыслям. закатанная, подпольная бутылка водки зеленела в углу.

Разговор — вернее прикосновение душ — переходил от провалов в их бредовых, разросшихся отношениях... к мистицизму.

Воздух чернел то от взрывающихся, то от сгнивающих мыслей.

Извицкий, просмаковав загробное, упирал теперь на смех Абсолюта; что де невиданное это качество, если у Абсолюта есть свой смех. Дик де он (смех) и непостижим, потому что никому не противопоставлен и причина его разумеется не в разладе с действительностью, а в для нас неизвестном.

Истерический смешок прошел по горлу Падова: ему показалось, что он видит концы этого смеха.

Все сидели в отдалении друг от друга по полуразвалившимся креслам, но у каждого — для тишины — под рукой было по стакану водки.

Масло в огонь подлил Ремин, который из своего угла начал что-то смердеть о жизни Высших Иерархий; что де по сравнению с этим любые духовные человеческие достижения, как крысиный писк по сравнению с Достоевским. И что де неплохо бы хоть что-нибудь оттуда урвать или хотя бы отдаленно представить, пытаясь сделать скачок от Духа... туда... в неизвестный план.

На Падова особенно подействовало это напоминание; «что нам, курям, доступно!», — слезливо пробормотал он.

Но потом озлобился.

И хотя Ремин еще что-то нес о необходимости вырваться в зачеловеческие формы «сознания», мысль о дистанции пред Неведомым задела и Падова и Извицкого. Она даже повергла их в какой-то логически-утробный негативизм.

— А может быть все Абсолютное движется только в нас...

Даже сейчас, — вдруг захихикал из угла Извицкий.

Он поперхнулся; всем действительно хотелось именно «сейчас» воплощать абсолютное, чтоб и теперь, в сегодняшнем облике, вмещать его, иначе слишком обесценивалось «теперешнее» состояния и «теперешние» мысли. От нетерпеливой любви к себе Падов даже дрожал. А Извицкий недаром еще раньше искал какой-то обратный, черный ход в мире, который вел бы в высшее минуя все иерархические ступени.

Наконец, после угрюмого молчания Извицкий сразу заговорил о пародоксальном пути.

Он набросал картину мира, где к трансцендентному можно было бы придти чрез негативизм, чрез отрицание; это был мир, в котором положительное, как бы уничтожалось, а все смрадно-негативное, напротив, становилось утверждающим.

В этом мире, или вернее антимире, всему отрицательному и злому давалась живая жизнь; и даже само небытие становилось в нем «существующим»; это была как бы оборотная сторона нашего мира вдруг получившая самостоятельность; и наоборот обычный мир положительного здесь становился вывернутым, изчезающим.

Все это находило, конечно, греющий душу отклик у Падова и Ремина. Но Извицкий не очень искал попутчиков...

Поэтому разговор (словно метались души) переменился и принял другое направление.

Сначала вскользь — для издевки — коснулись некоторых странных, даже комичных моментов послесмертной трансмиграции. Потом — насмеявшись и разгорячившись, упомянув о секте спасения Дьявола — вдруг перешли к учению Sophia Perenial. Холод и трансцендентное спокойствие сразу овладели всеми. А затем — о воплощении Логоса, о Веданте, о суффиях, об индуизме, обо всем, где рассыпаны бессмертные зерна эзотеризма. И о зияющей пропасти Абсолюта, о Его святой Тьме, по ту сторону любого бытия.

И наконец — после какой-то неожиданной истерики — о том, о чем говорить нельзя...

— Этого не надо, не надо касаться; мы погибнем! — в ужасе закричал Ремин.

Все сгорало в каком-то напряжении. Дальше идти было невозможно. Разговор приостановился.

— Вот он: русский эзотеризм за водочкой! — проговорил кто-то под конец.

VIII

На следующий день утром, после того уже как приехала Анна, калитка Сонновской обители отворилась и две нелепые, странные фигуры показались на дворе. Одна из них вела другую под руку. То был Федор Соннов, а второй — Михей, который любил, чтоб им гнушались. Медленно, точно принюхиваясь, они обошли весь дом. Из открытого окна Клавуша приветствовала их, равномерно помахивая щеткой. Первым на гостей выскочил дед Коля; визгливый и тонкий, но с остановившимися, выпученными глазами, он помахал тряпкой на Михея. Михей стоял покорно, просветленно улыбаясь в Колино лицо. Федор вдруг развалился на траве, как свинья; и было странно видеть его жуткую, полумертвую фигуру, валяющуюся на земле и этим похожую на отмеченную природой обыкновенную свинью.

Понемногу из дому стали высыпать и его другие обитатели. Даже солнце, светившее на этот раз яростно и неугасимо, точно почернело, словно у солнца имелся разум. Никто даже не собирался завтракать; все были заняты собой и своими гнойными мыслями.

А Федор даже не обратил внимания на Аннушку, которая непрочь бы с ним по мракобесию пококетничать.

— Чрез смерть нашу имею только общение с женщиной, — прорычал он ей в лицо, и пошел из дома на Лебединское кладбище, где сиротела могилка Лидоньки.

Там, в одиночестве, Федор долго плясал, если только можно назвать то, что он вытворял плясом, около ее могилы. Пятил губы вперед, на невидимое.

Днем появился Алеша Христофоров, совсем замученный и ушедший в себя.

Куро-труп совсем почти не высовывался; всем была видно только его непонятная тень.

Алеша все-таки убедился, что отцу — по крайней мере физически — здесь «хорошо»; если уж «лечить» — решил Христофоров, — то формально место ему может быть только в сумасшедшем доме; но зная тамошние порядки и прочее, Алеша отбрасывал всякую мысль об этом; оставалось только ждать. Поэтому Христофоров думал лишь как бы уехать отсюда по своим неотложным делам.

Усиленно молился, чтоб отстранить черное; да непосредственно к нему никто и не лез; главный насмешник над ним — Падов

— был сейчас так отвлечен от внешнего мира, что совсем застывал, с рюмкой водки около рта.

Возвратившийся же с могилы Федор обошел Алешу стороной, как несуществующее.

Правда, за калиткой Сонновского дома, Христофорова облапила и пыталась снять с него штаны медсестра, выползшая на четвереньках из лопухов. Ускользнув, Алеша признался:

«Так ведь это та самая медсестра, которая лечила папу... Недаром Клавдия Ивановна говорила, что она любит спать в лопухах... А Аннушка еще ответила, что это преувеличение...».

Словно подстать его мыслям где-то за забором раздался нутряной полу-крик, полу-вой «папы», скорее напоминающий нечеловеческие звуки трубы.

Повинуясь инстинкту на непонятное, Алеша еще раз забрел на Сонновский двор, обойдя его с другой стороны. Не забывал шептать что-то библейское.

Во дворе уже никого не было, кроме Михея уснувшего у бревна. Поганая кошка пыталась лизнуть его пустое место. Алеша прошел мимо этой сцены вглубь, в распахнутую дверь дома. На лестнице он услышал голоса, доносившиеся из ближайшей комнаты.

Выделялся резкий, торжествующий, духовно-утробный голос Анны...

Алеша спустился вниз, во двор.

Поганой кошки около пустого места Михея уже не было.

Рядом, с изменившимся лицом, лез в сарай к куро-трупу белокурый Игорек — нечеловечить. А когда Алеша уже покидал Сонновскую обитель, последнее что он увидел: застывшие глаза Петеньки, уже не баюкавшего себя. Обойдя канаву, откуда уже выползала сестра милосердия, Христофоров побежал к станции.

IX

Между тем Петенька уже не только соскребывал с себя прыщи и лишаи, а по-настоящему поедал самого себя. И с каждым днем все глубже и глубже, все действительней и действительней. Он и сам не понимал почему он так живет. Хотя причина, вероятно, была. Имя ее — его крайне недоверчивое отношение к внешнему миру, от которого Петя воздерживался принимать даже пищу.

К миру Петенька относился с подозрением, как к чему-то бесконечно оскорбительному, хамскому, и скорее готов был дать

разорвать себя на куски, чем принять от мира что-нибудь существенное. Последнее для него было равносильно религиозному или скорее экзистенциальному самоубийству. Даже когда дул нежный весенний ветерок, Петенька настораживался, если замечал его.

Обычно же старался ничего не замечать, существуя в самом себе как в люльке; даже пищу он воспринимал лишь как нечто твердое и несъедобное из тьмы. Потому и поедал самого себя. Сначала это было для него просто необходимостью, но последнее время он стал находить в этом судорожное, смрадно-убедительное удовольствие. Тогда-то он и перешел от соскребывания к более непосредственному самопожиранию. Это придавало ему — в собственных глазах — большую реальность. Точно он углублялся в свою бездну-люльку.

В связи с этим переходом — однажды ночью, когда выл ветер, который Петенька не отличал — у него появилось особенно яростное желание впиться в себя. Изогнувшись, он припал к ноге и надкусил; кровь долго, теплой струйкой лилась через помертвевшие губы, и ему казалось, что он уже совсем закрылся, что не стало даже обычной тьмы, окружающей его. «Вглубь, вглубь», — шептал он своим губам и льющейся крови.

Эти акты точно совсем похоронили его. Пока на Сонновском дворе разыгрывались странные мистерии Петенька припадал к самому себе, останавливаясь для этого, как припадочный во сне, где попало. Но никто как-то не замечал его состояния. Лишь иногда девочка Мила натыкалась на него, скрюченного, но «видя» она ничего «не видела».

И бледное лицо Петеньки совершенно извратилось. Он только дышал в свою кровь. Весь изрезанный он шатался из угла в угол, уже не присутствуя. Но ему хотелось углубиться дальше, во внутрь, и он туда добирался... Дело явно шло к смерти, которая ассоциировалась у него с последним глотком.

Однажды утром, как раз через несколько дней после того как в гнезде появился Федор с Михеем, Петенька встал с твердым намерением съесть самого себя. Он не представлял явно, как он это будет делать. То ли начнет отрезать от себя части тела и с мертвым вожделением их пожирать. То ли начнет с главного и разом, припав к самой нужной артерии, впившись в нее, как бы проглотит себя, покончив с жизнью.

Но он слишком слаб от предыдущего самопожирания, голова кружилась, руки дрожали. Сморщенно посмотрел из окна на высокие деревья и на миг увидел их, хотя в обычное время ничего не различал. Задвинул занавеску. И вдруг вместо того, чтобы

ранить и есть себя, вгрызаясь в тело, упал и стал лизать, лизать себя, высовывая язык, как предсмертная ведьма, и облизывая самые, казалось, недоступные и интимно-безжизненные места.

Глаза его вдруг побелели, стали как снег, и казалось в нем уже ничего не осталось, кроме этого красного, большого языка, как бы слизывающего тело, и пустых, белых глаз, во что это тело растворялось.

Иногда только у затылка ему слышалось исходящее из него самого невиданное пение, вернее пение невиданной «радости», только не обычной, земной или небесной радости, а абсолютно внечеловеческой и мертвенно-потусторонней.

Лизнув плечо, Петенька испустил дух.

Труп обнаружили часов в двенадцать.

Смерть Петеньки сразу же околдовала всех окружающих. Дед Коля улизнул на дерево и долго смотрел оттуда пустыми глазами. Девочка Мила задумалась. Клавуша на крик: «смерть, смерть!» выскочила на двор, в кухонном переднике и с помойной тряпкой в руке. Казалось, она хотела отереть лоб Петеньки этой тряпкой, чтобы согнать привидения. Приезжие —Падов, Анна и иже с ними — тоже зашевелились, почувстовав родное. Один Федор по-настоящему завидовал Петеньке: он завидовал ему, когда тот жил, высасывая из себя прыщи, и тем более завидовал теперь, когда Петя умер. Он один по существу понял, что Петенька съел сам себя. «Далеко, далеко пойдет Петя... в том миру, — с пеной у рта бормотал Федор. — Это не то что других убивать... Сам себя родил Петя». Федор отделился ото всех и стоял в углу за деревом, механически-мрачно откусывая с него кору...

Где-то около покойного рыскал Михей, точно открывая шрам-глаз своего пустого места на труп.

«Кыш, кыш, окаянные!» — разоралась на весь двор, сама не зная на кого, Клавуша.

Дед Коля, наконец, слез с дерева. Надо было оформлять документацию. Труп накрыли платком и началась деловая кутерьма. Наконец, все было обхлопочено и Петенька весь белый и прозрачный, лежал в гробу на столе, против окон, которые выходили в сад. На следующий день нужно было хоронить, недалеко, на Лебединском кладбище. Но утром обнаружилось, что гроб пуст. Петеньки — вернее его трупа нигде не было. Дед Коля заглянул туда-сюда, посмотрел почему-то в погреб, за шкаф — нигде мертвецом и не пахло. Гроб, правда, нахально и обнаженно оставался на столе, точно приглашая в себя лечь.

Странно, что исчезновение трупа неизмеримо сильнее подей-

ствовало на деда Колю, чем сама смерть сына. Он зашатался, как пьяный, обнюхивал углы и даже вывел из своего обычного состояния девочку Милу. С широко раскрытыми глазами, расставив руки, точно принимая видимый мир за невидимый, она лазила по кустам в поисках трупа. Во всяком случае дед Коля ни в какую дверь не мог достучаться и только сонный Игорек нечеловечил где-то по углам.

Между тем официальная, земная часть смерти вступила в свои права. У ворот толкались какие-то полупьяные субъекты, какие-то официальные представители топтались на улице, пора уже была выносить гроб — и нести вперед, к яме. Дед Коля так и вскрикнул при мысли о том, что будут хоронить пустой гроб. Именно пустота почему-то раздражала его. Если бы вместо Петеньки в гробу лежало бы гниющее, смрадно-выпяченное чудовище, то и то он мог бы стерпеть — но пустоту ни за что! Подбежав, он, оскалившись и нагнувшись, стал как бы кусать пустоту, лязгая зубами, как будто пустота была чем-то реальным. Подвернувшаяся соседка старушка Мавка пыталась было наложить в гроб лохмотьев и принесла даже кирпич, но дед Коля ее оттолкнул.

Между тем ждать дальше было нельзя: с улицы уже раздавались пыльно-возбужденные голоса да и могильщики могли уйти, не дождавшись срока. В ворота уже стучало какое-то пузатое, толстое начальство. Ошалев, дед Коля подхватил гроб, словно перышко.

— Откуда прыть, откуда прыть-то, Коля, — прошамкала старушка Мавка и пристроилась спереди.

Похоронная процессия с пустым гробом тронулась с места; дед Коля выпучил глаза, но ноги плохо слушались его, заворачивая в сторону. С грехом пополам спустились во двор. За воротами шумели люди. Девочка Мила, осматриваясь, была при гробе. Надо было идти вперед, к людям. Но дед Коля от страху рванулся в сторону; у него возникло желание тут же выбросить гроб на помойку, а самому убежать Бог знает куда, — далеко, далеко.

Но старушка Мавка так цепко впилась в гроб, а ногами уцепилась в землю, что дед Коля не мог ее оторвать. Тогда у него возникло желание самому впрыгнуть в гроб, и чтоб Мила и старушка Мавка его несли, дальше, вперед, к могиле. А он бы размахивал руками и кричал в небо... Кувырнувшись, дед Коля, как пловец, нырнул в гроб. Гроб перевернулся, старушка Мавка упала, дед Коля встал чуть не вниз головой, а Мила все еще осматривалась. Они были все втроем, одинокие, на лужайке,

около кувыркающегося гроба. Тем временем ворота понемногу поддавались напору нетерпеливых любителей смерти... И вдруг взгляд деда Коли приковал куро-труп, выскочивший из своего сарая. Он криво бежал, кудахтая, к одинокому, бревенчатому строеньицу вроде деревенской баньки, которое приютилось в стороне за кустами и принадлежало Клаве.

В крике куро-трупа было нечто мертво-любопытствующее, и дед Коля, почувствовав разрешение, как юркий идол, запрыгал за ним...

А дело было вот в чем. Этой ночью, после двенадцати, Падов проснулся и что-то заставило его заглянуть в окно. Во дворе — при свете луны — увидел такую картину. Клавуша, выпятив брюхо, везла что-то на тачке. Это «что-то» был — вне всякого сомнения — труп себяеда Петеньки. Худая рука выдавалась как острие шпаги. Падов вспомнил, что — по Анниным рассказам на половину Фомичевых ведет тайный ход. Значит Клавуша несомненно им воспользовалась, чтобы уволочь Петю.

«Но зачем ей труп и куда она его тащит?!», — подумал он. Увидев, что Клавуша с трудом подвезла труп к бревенчатой баньке, Толя тихо спустился вниз.

Ни Клавуши, ни трупа уже не было видно, — только тачка стояла у входа, в стороне. Падов долго не решался подойти. Наконец, плюнув, он подобрался к двери и, толкнув ее, заглянул. Он ожидал все что угодно — слезливого труположества, минета с мертвым членом, чудовищных ласк, но не этого.

Клавуша мирно сидела — задницей в ногах трупа, при свечах — и аппетитно поедала шоколадно-пирожные торты, которые она один за другим уставила на мертвеце. Падов завопил, но Клавуша, обернув к нему свое добродушно-зажравшееся, в белом креме на губах, лицо, проговорила:

— Заходите, заходите, Толюшка, сейчас вместе покушаем.

— Но почему на трупе?!! — вскричал Падов.

— Да Петенька сам шоколадный. Он у меня и есть самый главный торт. Самый вкусный, — убежденно проговорила Клавуша, облизываясь, и оглядывая Падова своими обычными пьяно-убежденными глазками.

Падов вошел.

Банька была темна, но свечи хорошо вырывали из тьмы труп с шоколадными тортами.

— Лакомтесь, лакомтесь! — утробно пробурчала Клавуша.

Падов присел. Клавуша обмакнула пальцы в рот, прошлась по трупу и потом стала их облизывать. На Падова она не обращала

никакого внимания. Почему-то вдруг Толя понял, что она действительно принимает труп за шоколадный торт.

— Но почему она не ест Петеньку буквально? — подумал тогда он.

Очевидно, Клава отличала «сущность» от эмпирического значения вещи и инстинктивно не путала их. Таким образом, принимая в душе и реально Петеньку за торт, по видимости она ела все-таки обычные торты, хотя в сознании кушала трупо-торт. Интуитивно Падов понял это, когда он, сжавшись и мысленно подхихикивая, целые полчаса вглядывался в поведение Клавуши. Понял и возликовал. Клавуша между тем, беззаботно пощекотав труп за нос, уселась прямо на живот, очевидно желая утонуть в пирожном.

В дверь баньки тихо постучали. Падов вздрогнул. «Свои», — послышался шепот. В щели бесшумно появились Ремин и Анна. Оказывается, Падов разбудил Аннулю и произошла цепная реакция. После объяснений, напоминающих бормотание в стене, все уселись вокруг трупа. Ремин вынул неизменную бутылку.

— Водицы достали, Гена, — промолвила Клавуша. — Ну, балуйтесь, балуйтесь, — и сняла носки...

Такими их и застал наутро дед Коля. Хрякнув, он понимающе улыбнулся. Куро-трупа оказывается привлекла тачка и он метался вокруг нее. Все остальное произошло так, как будто ничего особенного не случилось. С помощью Гены и Падова труп выволокли наружу. Но здесь-то ворота и поддались напору обывателей и их взору предстала такая картина: гроб валялся в стороне, вокруг него кудахтала старушка Мавка, а труп волокли за волосы к гробу.

Обыватели онемели, но толстое, сельское начальство сообразило.

— Небось жирок на мыло или еще для какой надобности выжимали, — протрубило оно, полушутя.

Обыватели вдруг рассмеялись и дело было как-то сразу улажено.

— Мы от организации тут венки принесли, — пробасило начальство — чтоб был порядок.

Все приняло стройный вид; Петенька в гробу и все остальные двинулись. Дед Коля помахал Клавуше кепкой.

X

Вернулся с кладбища дед Коля совсем расстроенный. И все время его куда-то тянуло: то вверх забраться на дерево, то вперед

— в пространство... Вынес кой-какие вещички из дома на двор и связал узелочком. Точно куда-то собирался. И действительно, тоска заела его. Присел на бревнышко покурить и «поговорить» с куро-трупом. Куро-труп сидел нахохлившись, как высеченная из дерева курица. Сплевывая махорку, дед Коля говорил:

— Уеду я отсюда, уеду... Сил моих нет на таком месте жить.

— Ко-ко-ко, — деревянно отвечал куро-труп.

Но желание деда неожиданно наткнулось на сопротивление единственно оставшейся в живых дитяти — девочки Милы.

Пока в Сонновско-Фомичевском доме Петенька пожирал себя, приближаясь к смерти, еще одна тихая, почтенная история разыгралась в углу: девочка Мила влюбилась в старичка Михея.

Как это могло случиться? Ведь девочка видя ничего не видела. Но зато ей многое было дано. Зародилось это, когда Михей сидел на бревнышке и по своему обыкновению, обнажив пустое место, смотрел как поганая кошка лижет его. Михею очень хотелось, чтобы им гнушались даже помоечные коты, но пока он еще был далек от этого. В этот момент у Милы в глазах что-то дрогнуло. Сначала она, как обычно, ясно видела формальную сторону действительности, но так что у нее не было внутреннего ощущения, что она ее видит. И вдруг в точке, где ей виделся Михей, которого она в тоже время виденеощущала, ей почудилось пение и пред внутренним взором своим она увидела черное пятно, которое вызвало у нее представление о розе. Улыбнувшись, она захлопала в ладоши и как козочка подбежала к Михею. Оттолнув ногой поганую кошку, она упала на колени и стала лизать пустое место. Михей насторожился. Его ушки полуотсутствующего старичка задвигались и нос покраснел. Он никак не мог связать этот факт со своим умом и только кокетливо поводил нижней частью туловища. Игорек, один видевший эту сценку, зааплодировал.

С тех пор началось.

И все в тайных уголках, по невиданным закуткам, за бревнышками. Затерянный взгляд Милы стал проникать в туманные миры, которые прочно соотносились у нее с Михеем, точнее с его пустым местом. Иногда она видела черное пятно и давешнее пение. Временами из черного пятна доносился вой. Порой, только заметив Михея, она чувствовала далекое движение чего-то иного, прекрасного и смрадного, и оно отпечатывалось в ее глазах легкой блесткой переходящей в сознание. Но это движение, эта искра трансцендентного вызывала у нее явный сексуальный интерес. В уме ее тогда сгибались розы, внизу дрожали колени и она шла навстречу

Михею. Михей так и не смог связать ее появление с чем-нибудь определенным и только щерился от непонятности.

То ему хотелось, чтоб им гнушались, то, напротив, он блаженно связывал ее — Милу — с какой-то своей загадкой. Поэтому поначалу он, как волкодав среди цветов, сторонился ее, поворачиваясь к ней боком. Только иногда рычал, отыскивая глазами щель в небе. Но в конце концов сдавался. Вялым движением, оглядывая пространство единым взглядом, обнажал пустое место. Милочка опускалась на колени и все ее лицо было точно усеяно небесными каплями. Иногда впрочем появлялись черные, провальные пятна. Особенно чернел язык... Эти минеты с отсутствующим членом Михея совсем придавали ей детски-обморочный вид. «Далеко, далеко пойдет дочка», — бормотал Михей. В таком-то состоянии и находились они, когда дед Коля задумал бежать из Лебединого. Но Милу было не так-то просто оторвать от Михея. Дед Коля стучал кастрюлями, швырялся бельем, пел песни. Милочка же своими тоненькими изощренно-пустыми пальчиками словно держалась за неприсутствующее тело Михея. Разрядил обстановку Федор — он мельком, краем существа, заметил полный уход от себя своего «друга».

«Не тем, не тем занялся дедушка», — в тайне промычал Федор на Михея.

Вскоре Михей целиком исчез из его поля сознания, «дружба» сама собой кончилась, а «человечины» Федор — хоть и мимоходом — не мог выносить. Поэтому когда он один раз просто так погрозил Михею поленом, Михей вдруг струсил. Дело в том, что теперь, после лизаний пустым местом с Милочкой, у него неожиданно появился интерес к жизни, и желание продлить свое существование. Он стал пугливей, озабоченней, хотя все это присутствовало как бы само по себе, совершенно независимо от сохраняющейся прежней «потусторонности». Возможно, интерес вызывался чудовищной формой общения... За один час Михей прытко уговорил Милу бежать из Лебединого, при условии, что он поедет вместе с ней.

Основные вещи вывезли с вечера, а рано утром три нездешне-уродливые фигуры, нагруженные узелками, выходили из ворот Сонновского дома: одна — деда Коли — несмотря на тяжесть, радостно подпрыгивающая; другая — Милы — нелепо-отсутствующая; третья — Михея — важно-сосредоточенная, как будто он шел в церковь...

Елейно-жуткое лицо Клавуши улыбалось им из окна...

XI

Между тем Падов погряз в интересе к Клавуше. Одновременно собственная тоска мучила его. Теперь на него нашло странное состояние, которое для начала можно охарактеризовать как комплекс неполноценности пред Высшими Иерархиями. Иногда он подразумевал под этими Иерархиями сознание Ангелов, иногда у него были собственные догадки относительно существования неведомых доселе Высших Нечеловеческих Духов.

Бывало присядет Толя где-нибудь на завалинке и поглаживая животик, задумается. О Высшем. И пытается проникнуть в «неизвестное сознание».

И когда Толя занимался подобными операциями, настроение у него было порой взвизго-приподнятое, так как углубляясь в этот молниеносный гнозис, он вызывал к себе искры неведомой, зачеловеческой духовности... И это ласкало его гордость.

Но теперь тупая придавленность овладела им.

В уме все время мелькало, что настоящее высшее — то, о чем нельзя задать даже вопроса, а все о чем можно было поставить вопрос хотя бы путем усилий, хотя бы мимолетно — все рядом и не так уж высоко. И все равно как бы он ни изощрялся, он останется ничтожным пред непостижимо-высшим, по крайней мере в данный момент.

Конечно, высшие иерархии не предстояли непосредственно, даже сам факт их существования отнюдь не был ясным, но воображение точно срывалось с цепи и рисовало картину одну пикантнее другой...

«Здесь мы страдаем от насилия со стороны низших существ, — завыл он однажды в уме, опустившись на травку, — зато мы сознаем свое глубокое превосходство над всеми, «здесь» мы — соль земли и неба; а «там», «там», хоть наше превосходство над низшими станет объективизированным, явным, зато мы увидим, что мы вовсе не соль мира и в глаза нам с холодным любопытством глянут Высшие Существа. ...Как перенести, как перенести этот надлом... И неизвестно еще что лучше: так или эдак... Вот и дергайся от одной крайности к другой».

Неожиданно Толя ощутил себя котлеткой, дрожащей и как бы подкипяченной, мысли отошли от высокого и стали как мухи, рвущиеся из сетки; он даже хлопнул себя по лбу, порываясь раздавить этих мух... Мысли вились, неопределенные и бессмысленные, сплетаясь с чепухой, и словно уже не принадлежали его

собственному великому «я», которое сузилось и стало как недотыкомка.

Падов сплюнул. Поганая кошка застыла глядя на его рот.

— Грустите, Анатолий Юрьевич? — раздался влажный голос Клавуши.

Толя хихикнул.

— Обожаю я вас, Анатолий Юрьевич, — продолжала Клавуша. — Так бы на вас сковородку и надела. Люблю, когда в пеньке имеется разум.

— Вот вы меня за пенек принимаете, Клавдия Ивановна, — радостно улыбнулся Падов, — а я ведь грущу, оттого что я всего-навсего — человек и заброшен в этот, по известному выражению, грязный подвал вселенной.

— Да нешто это подвал? — Клавуша широко расплылась. — Вот уж не ожидала от вас этого, Толюша... Какой же это подвал? Это твердь поднебесная! Рай! Поглядите на птичек — какие у них вострые головки; это просто кровавые, летающие подушки или лопухи; ну чем не прелесть; а пес, — Падов посмотрел на огромного, с красной пастью, бульдога, тупо наблюдавшего за ними из-за соседского забора, — это же ангел полупоявившийся и зубки у него словно разговаривают; а земля, — Клавуша топнула ножкой, — где еще такую блядь найдешь?!

— Ну, а душа? — играючи вспомнил Падов раны детства. — Бессмертна?! — и он подмигнул ей.

— Ну что вы кипятитесь?! «Бессмертна, бессмертна», — расхохоталась Клавуша. — Она и так вечна. Сама. И нечего об этом спрашивать. Нашли об чем волноваться.

— Какая вы уверенная, Клавуша, — полушутя обиделся Падов, — с вашим бы настроением в аду жить. И там не пропадешь.

Но он все больше и больше интересовался ее миром, в котором все было выверчено и имело иное наименование и смысл.

Вечерком прижались друг к дружке. Только Федор залез куда-то на крышу. Собрались во дворе, в уголку, на опустевшей Фомичевской половине. За столиком сидели Клавуша, Падов, Анна, Ремин и Извицкий. Где-то рядом на травушке резвился Игорек.

Клавуша пила чай, словно дышала воздухом. И одеяло, в которое она почему-то завернулась, как-то судорожно и непохорошему сжимала. Падову почудилось, что Клавенька принимает одеяло за продолжение собственной кожи. Груди

Клавуши свесились и она смотрела в них, точно в зеркало. Анна курила, вспоминая уничтожение.

— Тебе подарок, тебе, — произнесла Клава и поставила пред каждым перевернутый стакан. — А тебе грибки с головы, — прокричала она на крышу Федору, словно отрешившись от особого к нему отношения.

Руки опускала в кастрюлю, как в бездну. Волосы ее уже многим казались тиною.

— За истуканов всех принимаете, Клавенька, — умилился Извицкий.

— Ну что вы, Женичка, — слабо улыбнулась Клавуша, — кого за бумагу, кого за гуся...

И Игорек действительно словно бумажный, пробежал мимо всех. Тьма нарастала.

Глаза Клавы будто ушли в незнаемое. И в небо она смотрела, как в дыру. И вдруг окинула всех нелепо-обнимающим взглядом:

— А ну-ка спляшем все... Лихия...

Все понемногу входили в ее бредовую и в то же время реальную устойчивость. «Идея» была подхвачена. Даже Федор проснулся на крыше.

Сначала танцевали еще напоминая прежних метафизических тварей. Танцующий Падов был вообще жуток, как танцующая мефистофельская мысль. Волосы напоминали загробную диссертацию. Казалось плясали — на горизонте, при луне — сами сущности.

Но потом на всех точно накатился мир Клавуши. «Сама», трясясь, таращила глаза на пляшущих, но в ее сознании отражались не они, а крутящиеся на их месте нелепые бревна, сковородки, голые, словно с них содрали десять шкур, призраки. Клавуша пусто хотела вскочить на Ремина, как на прыгающее полено. Пощекотала, как кота, сидящего и бренькающего на гитаре Игорька. Пугала казавшегося привидением Падова. А к Аннуле, вдруг прервав дикий танец, отнеслась как к себе, накинув на нее свое платье.

Веселый пляс между тем продолжался.

— Интересно живете, Клавенька, — умилился ей в ухо Извицкий.

— Идите, идите сюда, Игорь, — вдруг остановилась Клава, очертив круг.

Пляс кончился. Из угла Федор пристально всматривался в «метафизических»*, все понимая по-своему.

* Примечание. Так Соннов называл теперь Падова и его друзей, восприняв термин у Анны.

Ночь прошла в смятении.

Падов входил в мир Клавуши; и немного завидовал ей: «ее мир иррационален, нелеп, — думал Падов, — но в то же время защищен и самодавлеющ, устойчив именно своей нелепостью, в которую она замкнула реальность; никакие чуждые ветры не врываются в него; мой мир — моя крепость».

Одновременно он видел, что это не безумие, а состояние, в котором «я» сохранено, практическая ориентировка не нарушена, но зато изменилось трансцендентное восприятие мира и разрушилась прежняя иррациональная подоплека вещей и их значимость. И что Клавуша может теперь иначе, нелепо и мракорадостно, воспринимать мир.

«Хохочу, хохочу, хохочу!» — так и хотелось взвизгнуть Падову. Но он почему-то боялся ответного смеха «метафизических». И вообще соучастия других миров.

Наутро все были совершенно поглощены собой...

Клавуша говорила о своих внутренностях, что-де хорошо бы их раскидать по воздуху, а чай пила прямо из чайника, перемигиваясь с ним, как с мертвым ухом. Говорила и о мире в целом, как о хорошей-де, летящей вверх тормашками избенке, прочно охваченной ее крепким и всеобъемлющим разумом. И сурово грозила кулаком вдаль. Извицкий мракосексуальничал, чертя рукой, как членом, в котором помещен разум, какие-то фигурки. Ремин был занят своими запутанными отношениями с религией «я»; Анна лелеяла в себе интеллектуализованную ведьму; а Падова опять стали раздражать намеки на существовавшие Высших Существ.

Толю злила огражденность Клавеньки: «хорошо бы пробить брешь в ее мире». Клавуша сидела, оголив плечи, и мирно их поглаживала, словно ее плечи были божеством.

Завязался какой-то разорванный разговор, во время которого Женичка бренчал на гитаре, а Ремин хлестал водку.

— Не вмещаем мы чего-то, но уже чувствуем... На острие... — верещал Падов. — И чтоб выжить в загробном существовании, прыть надо иметь, совмещать в себе сатанинскую гордыню с чувством мышки!

И Толя вдруг плюнул в свою кружку с пивом.

— Сатаною надо быть и мышкою! — залился он, подняв глазки к небу. — Мышкою, чтоб попривыкнуть к неполноценности и защититься таким путем от Высшего, а Гордынею, застилающей свет, чтоб не погибнуть от тоски, от ущемления «я».

— Вот-вот! — и он выпил пиво.

Эта сцена вызвала истерический хохот у окружающих; однако Клавуша довольно добродушно посмотрела на Падова.

— Все мы вмещаем, Толенька, — смердяще вздохнула она. — По мне так другого мира и не надо... И етот хорош, особенно когда есть в нем смертушка... И етих высших... Фу... Плюньте вы на них... Нету их и все... Нету.

И она вдруг остановившимися, напоенными дальней мутью, глазами посмотрела на Падова.

Падов замер, а Ремин, не обращая ни на кого внимания, заверещал:

— Не вместим, не вместим и Сатану и мышку единовременно... С ума сойдем от противоречия.

А вечером Толя загорелся вдруг произвести атаку на Клавушу: «идеи мои — вне ее, но может чувство, чувство, — хихикал он. — И самому интересно».

Толя решился обольстить Клавушу; остальные легли рано и в вечернем дуновении ветерка Падов стал пробираться. В тайне его терзало желание сразу — именно сразу — подойти и поцеловать Клавеньку в щеку, как в огромное, мировое болото. Но ему было чуть жутковато целовать такой странный мир. Клавенька еще не уходила и стояла во дворе, у окна, наклонившись над корытом с бельем. Стирала. Но разве белье в ее руках было бельем? Ее огромная фигура пухлела в закатных лучах, прорывающих листья.

Падов в душе сексуализировал ее фигуру, пытаясь мысленно вдавить ее дух в ее плоть. Резко схватил сзади и впился поцелуем в жирную, мягкую шею. Когда очухался, Клава стояла перед ним с радостно-изумленным лицом и с сачком в руках.

— Комарик, комарик, — пропищала она самодовольно и вымороченно. И вдруг накинула на голову Падова скачок. — Попался.

Падов захохотал. Весь мир Клавуши встал перед его глазами. Секс пропал, был только замороченный взгляд Клавеньки.

Не то радуясь, не то увертываясь, не то хохоча, Падов, сбросив скачок, скакал из стороны в сторону от оживленно-брызжущей Клавуши, норовившей опять накрыть его сачком, как комарика. Кусты трещали от нелепо-прыгающих тел. «Скок-скок, не уйдешь», — кричала Клавуша каким-то потустороннерадостным голоском. Мир принимал явный реально-бессмысленный вид. Вдруг завопив, Падов скрылся во тьму...

XII

Наутро все казалось улеглось в мягкие провалы мышления. Не тяготели в душе ни прыжки с сачком, ни последняя безобразно-философическая сцена по поводу Сатаны и мышки. Только Падов угрюмо думал: «Ну и огромен же секс и его сдвиг у этой бабы... К ней с обычными мерками не подойдешь».

Но какой-то внутренний подземный гул нарастал. В душе Клавуши точно взбесились, встали на дыбы и со страшной силой завертелись ее клавенько-сонновские силы. Это было видно по движениям и особому пьяно-мутному, обнимающему взгляду.

Козу она уже принимала за волшебницу, дерево — за идола, грибы — за мысли, а небо — за клетку. Повсюду стояли истуканы ее нелепости. Однажды, когда пошел дождь, который она приняла за Господние слезы, вынесла огромное корыто, чтобы собрать слезинки. Но внутри ее что-то пело. Может быть этим пением сопровождался распад старого мира. Суть состояла в том, что прежняя сущность вещей упала на дно и сами они были онелепены голой волей и силой сознания. От этого весь мир погрузился в хаос и квазиуничтожение, но душа Клавеньки за счет этого приобрела устойчивость.

Беспокойство (для других) внушало лишь явное, видимое ускорение процесса в последние дни.

Между тем и все остальные были в своем давешнем верчении. Дух их был объят прежним, родным, но манеры — благодаря взвинченности общей обстановки — все больше напоминали манеры обитателей сумасшедшего дома. Нелепая непосредственность внешнего поведения сочеталась с тайнами в душе.

Дня через два Клавуша совершенно расслабившись от особой духовной теплоты свойственной только нелепости, вышла во двор с совершенно замороченными глазами. Даже ее движения ускорились, словно она ловила невидимых мух. Подбросила гуся на дерево. И вдруг, словно ее кто-то стал подгонять, начала вычищать мусор на улицу. Выпускала и живность. Понимающе-удивленный Падов хохотал около нее.

Но она и его ринулась прогонять, чуть не тряпкой, на улицу.

Толя хотел было объясниться, но очевидно она его принимала за предмет. В доме уже творилось черт знает что. Передвигались стулья, зачем-то связывались узлы. Клавуша работала не покладая рук.

— Что это?! — спрашивала Анна.

Но Клава добродушно-опустошенно выгоняла всех из дома, как метафизических колобков. Только свое пальто повесила почему-бы высоко у самого потолка. Даже Федор не сопротивлялся ей.

Не было и особой озлобленности (только Извицкий чего-то урчал), так как выпровождение было каким-то слишком потусторонним и не от мира сего. Да и сама Клавуша обмолвилась, что уезжает со всеми и запирает Сонновский дом.

«Вперед, вперед!» — только указывал рукой в пространство белокурый Игорек.

Опять захлопали окна, зашевелился Федор. Поганая кошка искала деда Михея.

«Метафизические», сгрудившись во дворе, на травке, наблюдали как Клавуша с помощью Федора заколачивает окна.

— Куда теперь-то, куда теперь! — нетерпеливо восклицал Игорек.

Клавуша повесила несколько странных плащей на деревья.

Все двинулись. «Темен, темен жир-то у Клавеньки», — шептал Падов, вдумываясь в ее плоть. Выйдя за ворота, они, оглянувшись, увидели опустошенное гнездо: большой, деревянный дом с несколькими забитыми окнами.

Казалось, каждое его бревнышко пропиталось людским мракобесием. Но теперь дом грустил, словно спрятав все тайное.

Клавушенька оказалась такая сама по себе, что даже Федор не знал, куда она едет. И в молчании они прошли почти до самой станции. Очевидно нужно было расставаться.

XIII

В опустелом Сонновском доме, словно глаз, остался один куро-труп*. Иногда он выглядывал наружу из-за забора, точно высматривая несуществующее. Глаза его обледенели, волосы с «головы» свисали непонятным барахлом, и сам он уже своим внешним обликом напоминал не мертвую курицу, а куб. Иногда соседке старушке Мавке слышался по вечерам его деревянный лай, вернее лай точно исходящий из дерева.

Странно однако ж, что по утрам куро-труп умывался. Вернее гладил неподходящие части мокрой рукой. Он, конечно, совершенно не заметил отсутствия всех обитателей. Только крысы одни

* Примечание. Присматривать за куро-трупом взялась соседка-старушка Мавка и ее сын, а Падов должен был срочно разыскивать куда-то пропавшего Алешу, чтоб он приехал в Лебединое и решил, что делать с «отцом».

наверное знали как он ел. Но и они часто не видели его «головы», которую он вбирая в себя, словно прятал куда-то в угол.

Крысы, наблюдая за ним, щерились, но почему-то не могли подобраться близко, словно Андрей Никитич не был даже трупом. Целый день «куб» прислушивался к своим стукам. Однажды, когда появилась луна, он ткнул в ее направлении пальцем. Но очевидно внешний мир для него уже давно умер, и начисто исчез из души.

Но в деревянном лице между тем проглядывало странное, вытянутое величие. Словно в его «личности», как в подставленной, кто-то невидимый молился еще более Невидимому, но потом отходил в сторону. А в долгих промежутках между этими «молитвами» внутреннее «куба» было заполнено голым воем мыслей без значения. Это был тихий, полу-мертвый вой. Мысли, не наполненные никаким содержанием, даже бессмысленным, тихо вращались, точно ожидая своего «наполнения». Но оно не приходило.

Ничто не связывало этот холостой ход мыслей с другими мирами. Но может быть тот, искомый затаенный мир был рядом.

«Куб» ощупывал пространство острием своих углов, точно играя с пустотой в прятки.

Единственное, что приносило ему запредельное напоминание — это молитвы через него, как некоей фигуры, того Неведомого. Но это же и убивало его, хотя подобное убийство было последним, что напоминало в нем жизнь. Однако, с течением времени, молитв становилось все меньше и меньше. Куро-труп полностью оставался наедине с самим собою.

И его большие обледеневшие глаза уже ни о чем не спрашивали.

Один, не очень странный мужичок, пробирающийся Сонновским двором на улицу, вдруг остановился и поцеловал его. Но «куб» не обратил на мужичка никакого внимания, даже не заметив этого поцелуя.

XIV

У станции произошло расставание. На прощание Падов прошептал Федору: «И часто такие взрывы бывают у Клавеньки?... Обычно ведь она не такая...»

Федор что-то промычал в ответ.

Клавенька уехала на электричке в одну сторону, Падов, Ремин

и Игорек — в другую. Федор пошел куда-то пешком. Анна инстинктивно осталась с Извицким. К этому привели изгибы ее отношений с Падовым. Его холод и его замороченность своими состояниями. А если Анна не была с Падовым, чаще всего она тянулась к Извицкому.

Она даже почувствовала облегчение, когда все рассыпались и они оказались вдвоем. И дрожаще-таинственное личико Извицкого выглядело неотчужденным.

Аннуля подмигнула Извицкому; выпив по кружке пива в честь сонновского мракобесия, они тронулись в Москву на автобусе.

Понемногу огромный, внешне безобразный, точно составленный из лоскутьев, город охватывал их. Они видели родную грязь, бездонную пыль, нелепые переулочки без единого деревца, как будто стиснутые бракованным железом. Изредка в таких переулочках попадались похожие на деревянные клозеты пивные ларьки, окруженные скопищем обмякших людишек. Иногда вырывались зеленые садики, поганя сердце напоминанием о жизни. И наконец люди — огромное их скопление, поток; и среди них вдруг — странные, радующие глаз, игриво-потусторонние. Аннуля улыбалась, видя таких.

«Шалуны-то видно у нас опять нарождаются, в Рассеи», — понял ее Извицкий.

Решили завернуть куда-нибудь к своим, к «метафизическим», как говорил Федор.

Имелись следующие возможности. Во-первых, в дома к отдельным индивидуумам для личного, сугубо тайного, субъективного контакта. В таких домах обычно не происходило сборищ. Зато сами «индивидуумы» были великолепны, не уступающие — как говорила Анна — Падову и другим крайностям, хотя и в своем роде. Личности эти для непосвященных были глубоко запрятаны, можно даже сказать заколочены. Во-вторых, имелись дома, где происходили «сборища», правда более открытых, но все же весьма кошмарных личностей. Наконец, по крайней мере летом, отмечались места, обычно грязные, заброшенные пивные, тяготеющие к кладбищам, где временами собиралась всякая экзистенциальная публика.

Конечно, можно было пойти в некоторые «левые», достаточно светские, но в то же время просвещенные салоны, где Падовскую компанию относительно неплохо знали, но Анну и Извицкого влекло сейчас только в глухое подполье. И даже промежуточные, тихие обители, вроде той «сонной», где Падов отдыхал с Реминым, не устраивали их. Повинуясь желанию, они поехали в

пивнушечку, расположенную недалеко от Богородского кладбища, рассчитывая там встретить кого-нибудь из своих.

Пивнушечка была донельзя безобразна и именно поэтому так смягчала сердце. Безобразие состояло в разбитом единственном окне, в нелепом бревне, валяющемся у входа и в особом смраде, который получался из тонкого смешения запаха близь расположенных могил и винных паров. В остальном пивная была ортодоксальна: грязь, блевотина, пропитанные черной пылью бутылки, пьяные, поющие разорванные песни.

Анна издалека вглядывалась в еле виднеющиеся лица «посетителей». Казалось на этот раз никого не было, но вдруг Извицкий радостно указал... на одиноко стоящего у столика... наглеца по отношению ко всему земному — Таню. Он был один, без остальных бродячих философов.

Подняв кружку вверх, точно Мессия, он приветствовал их. Извицкий погладил Таню по головке. И сама Анна любовно посмотрела на него, словно сквозь Танино лицо светилось, правда чуть ощеренное, само абсолютное спасение.

— Где же бродячие? — спросил Извицкий.

— Расползлись по щелям, — ответил Таня. — Получился конфуз.

И он рассказал очередную метафизическую сплетню.

— Теперь здесь никого не бывает, — добавил он, весело-сумасшедше глядя на солнышко. — Только я один. Пью пиво с Ним. С мистером Икс*...

Тотчас появилось какое-то маленькое, гаденькое, взъерошенное существо с голубыми, преданными, не то Рафаэлевскими, не то собачьими глазками.

— Это не Он, — осклабился Таня.

— А кто же это? — воскликнула Анна.

— Приблудший. Пока пусть сосется.

Вечер закончился традиционно для здешнего места, то есть на могилках.

Все разлеглись вокруг. Трупики, над которыми лежали, как бы вдохновляли на удовольствие. Анна даже чувствовала прикосновение чего-то сексуального. От черной и многозначительной земли. Поэтому по белой, нежной и такой чувствительной ножке пробегали знакомые, мутящие токи.

Но прошло все в мирно-улыбающихся, покойных тонах.

Только приблудший нехорошо улыбался при каждом слове.

* Примечание. Индивидуальный Мессия, т.е. Мессия, приходящий только к одному человеку и только ради него.

На следующий день Анна и Извицкий, встретившись и выпив по стакану вина, оказались одни, в комнате, где жила Анна. Анна знала, что Извицкий сильно любил (или любит?) ее; но знала так же, что не было более подземного в сексуальном отношении человека, чем Извицкий.

Тронутая его загадкой, она близилась к нему всем своим дыханием. Казалось, сама ее кожа источала облако нежности; а дрожь в голосе зазывала внутрь. И Извицкий опять — как было уже давно, летом, за Москвой — не устоял. Точно поддавшись воздействию какого-то одурманивающего поля, он стал целовать полуобнаженную Анну как целуют цветок...

Вскоре Анна, погрузившись в наслаждение, забыла обо всем. Но в воображении, которое подстегивало чувственное наслаждение и вливало в него «бездны», плыло нечто темное и мертвое. Тем не менее оно, это темное и мертвое, вызывая в душе мракобесный визг, до пота в мозгу усиливало страсть и оргазм... Анна только стонала: «мертвенько... мертвенько... мертвенько» и дергалась тельцем.

Чуть очнувшись, она взглянула на лицо Извицкого. Оно поразило ее своей мучительностью и крайним отчуждением. Ласки еще не были окончены, как вдруг Извицкий захохотал. Его хохот был совсем больным и точно разговаривающим со стенкой.

Анна замерла, а Извицкий стал бессмысленно тыкать пальцем в тело, которым только что обладал. По его лицу, сбросившему мягкость удовлетворения, было видно, что он как-то изумлен происшедшим и особенно изумлен видом Аниного тела. Вместе с тем чувствовалось, что между ним и Анной возникла какая-то невидимая, но действенная преграда. Вдруг, слабо улыбнувшись, Извицкий стал гладить свою грудь, точно вымаливая у нее прощение.

Страшная догадка мелькнула в уме Анны.

— Ты ревнуешь себя ко мне! — воскликнула она.

XV

Тайна секса Извицкого уходила далеко в прошлое, когда он был еще «просто» сексуален.

Он прошел тогда ряд «посвящений», главным образом по отношению к женщине и мужчине. Но ни то, ни другое не захватывало его полностью. Он искал «своего» секса, который пожрал бы все подсознание, не оставив ни одного подземного ручеечка.

Извицкий считал, что человек, который владеет своим членом, владеет всем миром. Ибо весь мир, все потустороннее и тайное для Извицкого болталось на ниточке секса.

В конце концов, он просто искал подходящий объект для любви. «Не может же быть, — думал он, — чтобы такая чудовищная, подпольная, духовная и в то же время чувственная энергия была направлена только на эти ничтожные существа.

Извицкий метался от одних ощущений к другим, включая все механизмы воображения; населял свою постель всеми представимыми и непредставимыми чудовищами: Гаргонна с поэтическим даром Рембо; некий синтез Чистой Любви и Дьявородицы; сексуализированный Дух; змея с нежной женской кожей и душой Блока — все побывали тут. Это примиряло с жизнью, но не более; параллельно шли контакты и на внесексуальном метафизическом уровне.

Освобождение пришло не сразу. Оно началось после тайных, мистических сдвигов в душе, но получилось так, что этими сдвигами воспользовалась скрытая, подсознательная эротическая энергия. Но все произошло как-то удивительно органично и естественно.

Это случилось примерно год назад. В бездне Извицкий сосредоточился на том, что сексуальная ярость и глубина ее проникновения у него увеличивается, чем ближе к «я» предмет любви. Кроме того, он стал замечать, что его, чаще спонтанные, прикосновения рукой к собственной коже (будь то на груди или на другой руке) вызывают в нем какую-то особенную сексуальную дрожь. Это ощущение было совсем иного качества, чем если бы его кожи касалась чужая (скажем, женская) рука. В этой дрожи заключалось что-то до боли интимное и непосредственное. Как будто рушилась какая-то завеса.

Наконец он видел также, что нечто странное происходит не только с чувственным, но и с духовным объектом любви. Он все время сдвигался в сторону самого субъективного и родного, то есть в конечном счете в сторону собственного «я».

Еще раньше (но особенно последнее время) его часто тянуло, даже во время любви с обычной, «реальной» женщиной как бы подставлять (хотя бы частично) свое «я» в ее тело. От успеха этой операции в значительной мере зависела мера возбуждения. Ему все чаще и чаще необходимо было или найти в женщине себя или (без этого вообще не обходилось) допустить подлог с помощью воображения.

Теперь же, после вышеописанных изменений, оболочка женщи-

ны вдруг разом и таинственно спала и он явственно увидел за ней свой истинный объект любви — самого себя.

Первый раз (в явном виде) это случилось утром, после дикой и развратной ночи: в воображении предстал он сам — родной и невероятный — и именно туда, к этому образу ринулась эротическая энергия. Даже сердце его забилось от какого-то чудовищного восторга. «Вот она, вот она — любовь! — мысленно возопил он, чуть не рухнув на колени. — Самый родной, самый близкий, самый бесценный... Единственный... Ведь ничего не существует рядом!».

Взглянув на себя в зеркало, Извицкий вздрогнул: по его лицу пробежала судорога какого-то черного сладострастия. Инстинктивно он дотронулся до щеки рукой и тотчас отдернул ее: пальцы пронзил жар нечеловеческой любви, они дрожали и точно тянулись утонуть в лице, объять его изнутри.

«Но как, как обладать?» — мелькнуло в его уме. Но само поющее от прилива нежности к себе тело, казалось, отвечало на этот вопрос. Ум мутился, дрожь проходила по членам, со сладостным ужасом он смотрел на собственную руку, которая казалась ему теперь желанней и слаще ручки самой утонченной сладострастницы. Да и качество было другое; «ведь это же моя рука, — стонал он, — моя кожа, моя, моя, а не чья-то другая». Рушилась преграда между самим субъектом и предметом любви; тот кто любил и любимый сливались воедино; между ними не было расстояния; та же кожа любила и была любима самой же; «нечего и выдумывать про обладание, — дрогнуло у него в душе, — оно всегда с тобой... ибо ты и твоя любовница — одно и тоже»...

Разумеется, надо было «научиться» изощренно представлять себя как бы внешним, с помощью воображения. Это было самое простое и верное, так как тогда — в сознании — собственная личность виделась целиком и на нее направлялся весь жар. Кроме того, имелись дополнительные, не менее драгоценные возможности: зеркало, фотографии, созерцание невидимых частей тела и наконец совсем особенное состояние неги, когда не нужно было представлять себя, а чистое, без воображения и созерцания, самобытие как бы нежило самое себя. Существование, все тело, все его токи, не разделяясь, словно целовались сами с собой. Последним путем можно было ежеминутно, ежечасно, ежедневно совершать с любимым, с собой тысячи невидимых, нежных, тонких микрополовых сближений.

Что касается способа непосредственного удовлетворения, то

Извицкий сразу же предвидел все возможности. Это не обязательно был онанизм. Вскоре Извицкий, например, выработал потаенную, психологическую технику общения с женщиной (или с мужчиной), когда она (или он) являлась только голым механизмом удовлетворения, а страсть, воображение, любовь и т.д. направлялись лишь на себя.

Итак, перелом произошел. Однако долгое время Извицкого преследовал призрак женоподобия. Все же, как ни была преображена природа, она упорно пыталась проникнуть в старое русло. Поэтому даже такой предмет любви, как собственное «я» нередко облекался в женскую форму. Извицкий не раз представлял себя в виде женщины, или хотя бы со сладострастно-женоподобными чертами. Так было проще и привычней направлять либидо на себя. Даже в обыденной жизни он старался «обабить», изнежить и выхолить собственное тело. Для этого он много ел и пил, меньше двигался и старался спать в мягкой постели. Даже на стул, прежде чем сесть, он норовил положить подушечку. С нарастающим блаженством он замечал, что его плечи с каждым месяцем округляются, ненавистные мускулы исчезают, живот становится мягче и сладострастнее, там и сям на родном теле возникают нежные ямочки, интимные скопления жирка. Особенно, до истеричности, он старался изнежить кожу, превратить ее в постоянный источник сладострастия. Руки же у него и без того были нежные, бабьи, словно созданные для неги и ласки.

В конце концов его стремление представлять себя в воображении в виде женщины с течением времени почти стерлось; чаще он видел себя уже непосредственно, в том виде, в каком существовал; это было полноценней с точки зрения любви к «я» и поэтому сладостней; к тому же и вид его все более и более изнеживался, хотя это уже был конечно второстепенный момент... Время окрасилось в бурные, неугасимые тона. Все существование трепетало в легкой, бесконечной, сексуальной дрожи. Это было связано с тем, что жгучий источник полового раздражения, то есть собственное тело, был всегда при себе. Среди грохота и гама раскореженного мира, среди пыли, воя сирен и людских потоков, любое, даже случайное прикосновение к обнаженной части своего тела вызывало судорогу, не только телесную, но и души. Мир исчезал, словно делаясь оскопленным, и сексуальная энергия направлялась внутрь, обволакивая «я» безграничной любовью. Легко и радостно было тогда Извицкому проходить сквозь этот оскопленный , лишенный плоти и интереса мир... Зато самого себя он чувствовал наполненным не выходящей страстью. Он мог

целыми днями ощущать себя как любовницу. Оргазм был сильнее, чудовищней и больше колебал душу, чем во время любви к любым женщинам или мужчинам. Одно сознание плотского соединения с самим собой, плюс сознание, что ты наконец обрел любовь к самому дорогому и вечно-бесценному, придавало ему — оргазму — нечеловеческое, последнее бешенство.

Но и устав от обладания, Извицкий с бесконечной нежностью всматривался в свои отражения в зеркалах. Каждый изгиб собственного тела мучил своей неповторимой близостью; хотелось впиться в него и разбить зеркало. От мира сквозило бесконечной пустотой; даже женщины, которых Извицкий порой использовал в качестве механизма во время любви к себе, настолько не замечались, что казалось их тела и души были наполнены одним воздухом. Зато какая радость была очнуться одному в постели и почувствовать обволакивающую, принадлежащую только тебе нежность своего тела! Каждое утреннее прикосновение к собственной коже, к собственному пухлоокруглившемуся плечику вызывало истерический, сексуальный крик, точно там, в собственном теле, затаились тысячи чудовищных красавиц. Но — о счастье! — то были не чуждые существования, а свой, свой неповторимо родной, неотчужденный комочек бесценного «я»; в восторженной ярости Извицкий не раз впивался зубами в собственное тело...

Собственные глаза преследовали его по ночам. Иногда в них было столько любви, что его охватывал ужас.

Такова была поэма, длившаяся уже целый год. И именно в таком состоянии Извицкий приехал в Лебединое.

XVI

Возглас Анны «Ты ревнуешь себя ко мне!» застал Извицкого врасплох. Во время любви к себе ему приходилось использовать женщин в качестве механизма. Но то, что произошло у него с Анной носило уже другую печать. Анну Извицкий не мог воспринимать как механизм. Прежде всего потому, что еще раньше, до возникновения любви к себе, он испытывал к ней сильное, поглощающее чувство. В Лебедином же метастазы этих чувств внезапно ожили. Извицкий почуял пробуждение прежних, уже казалось забытых эмоций, эмоций направленных во вне. Их оживлению к тому же способствовала их двусмысленность: ведь Анна была не просто извне, в тоже время она была неимоверно

близка по духу, целиком из того же круга, из того же мира, как бы изнутри. Сначала Извицкий полностью отдался течению эмоций, но потом чувство к Анне натолкнулось на растущее, органическое сопротивление...

Прежде всего сознание (можно даже сказать высшее «я») встретило крайне враждебно этот прилив чувств, оценив его как измену. Чувства, правда, как бы раздвоились: он видел в себе возможности любить как себя, так и Анну. Зная как опасно подавлять влечение внутренней цензурой, он решил не противиться любви к Анне, Однако ж его опасения были напрасны: за этот год он слишком углубился в любовь к себе, чтобы это чувство могло надолго отступить. Оно продолжало неизменно существовать, хотя одновременно было сильное влечение к Анне.

Такой раздвоенный, иронизирующий, чуть подхихикивающий над самим собой, Извицкий выехал из Лебединого с Анной. Но, оставшись с ней наедине, в комнате, охваченный ее обаянием, он, упоенный, бросился в ее объятия, целиком отдавшись новому влечению. Прежнее вдруг исчезло. Оно неумолимо предстало перед ним вновь в самый неподходящий момент. Целуя Анну, сближаясь с ней, он вдруг почувствовал какую-то острую, нелепую жалость к себе. Жалость к себе из-за того, что его секс направлен не на себя, что он целует чужое плечо. Одновременно в сознании молнией пронеслась мысль о прежних неповторимых чувствах и ощущениях. Тело его ослабло, а чужое тело показалось смешным и далеким. Именно, потому, что оно — чужое. В этот момент Извицкий захохотал и Анна взглянула на него...

...Он выглядел очень смущенным. Анна быстро коснулась его колен: «дорогой»; где-то она любила его даже больше, чем Падова. Одновременно страшная догадка жгла ее, разом осветив все изгибы прежнего поведения Извицкого. Она спросила его: «Да?».

Извицкий покорно наклонил голову: Да. Иного ответа быть не могло. Нервная дрожь охватила Анну. В обрывочных, но определенных словах Извицкий нарисовал картину.

Они встали. Некоторое время прошло в полном молчании. Анна уходила на кухню — покурить.

— Но это ведь Глубев, — вдруг сказала она, вернувшись.

Извицкий расхохотался.

— Скорее всего искажение этой религии или секта внутри нее, — ответил он. — Ведь у них любовь к Я носит религиозный и духовный характер...

— Да, но и религиозная любовь может иметь сексуальный момент.

— Но чаще всего сублимированный... И притом только момент. У меня же, как видишь, все по-другому.

— Дух можно привносить и в голый секс.

— Разумеется... Конечно — для меня это не составляет тайны — все началось с того, что я — независимо от всех — близко подошел к религии Я; когда действительно — всеми фибрами, всем сознанием — ощущаешь свое «я» как единственную реальность и высшую ценность то... и сексуальная энергия, сначала подсознательно, естественно направляется на это единственное, бесценное... Ведь остального даже не существует... Вот мой путь... вера в «я» дала толчок сексу, освободила поле для него...

— Я так и думала. Метафизический солипсизм ведет к сексуальному, — прервала Анна.

— Не всегда так... У глубевцев по-другому.

— Да, — улыбнулась Анна. — Как говорят, аскетизм рано или поздно неизбежен. Ведь надо же обуздать это чудовище внутри себя. К тому же, и чистый Дух вне эротики...

— Но в моем пути, — продолжал Извицкий, — который можно считать резко сектантским в пределах религии Я, метафизическое обожание собственного «я» приняло чисто сексуальную форму. Даже мое трансцендентное «я» лучше предвидится в любви. Каждое мое прикосновение к собственной коже — молитва, но молитва себе...

Глаза Извицкого загорелись. Анна была невероятно взволнована. В глубине такой эго-секс импонировал ей и она могла бы только приветствовать его. Но в то же время она была уязвлена, чуть стерта и желала восстановить равновесие. Ведь только что Извицкий — как она думала — любил только ее. Она не могла не попытаться — почти безосновательно — прельстить Извицкого.

Где-то достали вино и Анна употребила все свое тайное очарование. Она знала, что значит для людей их круга духовная близость к женщине чрез общие, мракобесные миры. Молчаливым восторгом приветствовала она и сексуальное открытие Извицкого, но словно призывая его разделить эту свою победу с ней. Этим пониманием его тайны она в последний раз очаровала Извицкого; он был в раздвоении и никак не мог оторвать взгляда от тела Анны, сравнивая его со своим. Оно опять казалось ему таким родным, что в некоторые мгновения он не мог ощутить разницу

между своим и ее телом. Оно завораживало его каким-то внутренним сходством.

Потом, нежно дотрагиваясь до ее плеч, он все-таки, даже в угаре, уловил эту бездонную, страшную разницу, хотя она — в тот момент касалась только ощущений. Увы, не было того абсолютного чувственного единства между любимым и тем, кто любит, которое сопровождало его эротику... Все-таки Анна была точно за каким-то занавесом.

Понемогу он приходил в себя, в глубине сердца предчувствуя, что Анна не сможет одержать победу в этом чудовищном поединке, тем более, когда он окончательно опомнится...

Анна виделась, как сквозь туман. Извицкий был так погружен в свои мысли, что не мог понять ее состояния. То ли она улыбается, то ли нет?

Наконец, они вышли на улицу. Внутри Извицкого вдруг выросло неопределенное желание овладеть собою. Даже дома казались ему проекцией собственного тела.

Прежнее влечение торжествовало: оно было сильней, реальней и нерасторжимо связывалось с «я», с его существованием.

Зашли в одинокое, стеклянное кафе. Анна была нежна, но как-то по-грустному. Реальность ее лица мучила уже где-то на поверхности. Вопрос о ее существовании уже не решался, он просто отодвигался в сторону, а в сознании накалялись свои реальности, свои черты...

Вымороченность и двойственность мира: то существует, то нет, исчезали вместе с самим миром: каждый укус, каждое прикосновение к себе выдвигало на первый план тотальность собственного бытия и его пульсирующую сексуальность.

Улыбнувшись, Анна простилась с Извицким. Тихо подошла и поцеловала его в губы... Он всматривался ей вслед. И вдруг понял, что если Анна не смогла отвратить его от нового пути, то уже не сможет никто. И ему остается только погружаться в бездну.

XVII

Через некоторое время Извицкий был один около странного, полуразвалившегося дома. Все стерлось, кроме любви к себе. Но в душе была томность и легкая усталость. Хотелось нести себя на крыльях. Он окружал себя целым роем мысленных, трогательных поцелуев. Проснулось даже некоторое потусторонне-извивное

кокетство по отношению к себе. Решил купить цветов, чтобы встретить себя как любовницу.

Это оказались нежные, черно-лиловые цветы. Он зашел с ними в кафе, чтобы выпить рюмку вина, и поставил их перед собой. Они точно обнимали его, находясь в яйном круге. Почти полчаса он провел в нежной, предвещающей истоме. Но уже надвигались первые тучи. Кровь клокотала в самой себе и кожа дрожала от само-нежности. Вместе с тем повсюду предвещались видения. Собственная тень быстро затмила весь мир, все солнце. Он хотел было тихо погладить ее. Усилием воли Извицкий сдерживал себя. Яйность вспыхивала порывами, точно сдавленная. Отойдя в сторону, он увидел в стене свои глаза, в благодарных слезах и в каком-то молении. Чуть преклонив колени, он мысленно вошел в них, как в храм.

Толстая тетя у стойки была за пеленой.

«Надо успокоиться», — щепнул он самому себе. Опять направился к своему месту за столом. Но все его существо дрожало не в силах устоять перед страстью и томлением. «Милый, милый», — начал бормотать он, уже почти вслух. Легкий пот прошел по лбу. Опять сел за столик.

— Только бы не дотронуться до себя, не коснуться, — прошептал он, отпивая вино, — а то разорву, разорву на части.

Но даже томный укус вина, не опьяняя, вызывал только прилив нежности к животу. Рука так и тянулась, изнеженно, почти воздушно, коснуться того места, около которого пела теплота вина.

Но он упорно сдерживал себя. Глаза налились кровию и у него появилось желание разорвать живот, вынуть все и в дрожи зацеловать. Равновесию помогала тайная мысль продлить, растянуть теперешнее наслаждение. Отключившись, он оказался на минуту в некоей душевной пустоте, благодаря которой сумел перенести первый прилив.

«Потихоньку надо, потихоньку, — пролепетал он потом, но язык еще дрожал от вожделения. — Надо обволочь себя тихими безделушками любви к себе».

Встал и, выйдя на улицу, сел в полупустой трамвай. Цветы остались на столе, точно изваяние несостоявшегося оргазма. «Безделушками», которые не доводили до конца, но все время поддерживали на должном уровне были: разные вздохи, полустоны, идущие вглубь себя, туманные очертания собственного тела где-нибудь в стекле. Наконец, общее ощущение себя-тела. Нервное ожидание, что его проткнет игла разрушения.

Даже внутренний, утробный хохоток нежил живот сказочной, нестерпимой лаской. Однако ж больше всего он боялся коснуться рукой своего тела. Дикая, безграничная, уничтожающая весь мир нежность к себе прикатывалась к горлу, уходила в мозг, дрожала в плече. На глаза навертывались слезы и губы дрожали. От постоянной нежности к себе у него кружилась голова и мгновеньями наступало полу-обморочное состояние. Он чувствовал даже прикосновение верхней губы к нижней и это прикосновение возбуждало его.

«Не надо, не надо», — и он отводил губы, чуть приоткрывая рот.

Чтобы успокоиться, лучше всего было прикрыть глаза и так неподвижно сидеть. Тогда, во-первых, мир даже формально выключался из поля зрения и это тоже был добавок нежности по отношению к себе. Во-вторых, внутренняя нежность почему-то становилась успокоенной и, пронизывая все тело тихой истомой, хоронила его как бы в сосуде. Каждая клеточка пела бездонную симфонию любви к себе. Но вместе с тем не было «безумия», взрыва, и этого хохотка, напоминающего бешеные, истерические поцелуи внутрь.

В таком состоянии, недвижим, Извицкий проехал какие-то бесконечные улицы. Но потом своей особой нежностью его стала мучить шея. Она была очень женственна, в яйном жирке, и потом сквозь нее проходили сосуды, несущие кровь к голове, к «сознанию». Может быть она требовала такой всепожирающей нежности, потому что была слишком беззащитна, скажем, от удара ножа. Извицкий не выдержал и коснулся рукой самой гладкой, мягкой, затылочной части шеи. Дернувшись, почти закричал. Сидеть было уже почти невозможно. Извицкий быстро сошел на неизвестной остановке. Кровавая тяга к себе, желание впиться, погрузиться в себя руками, как в бездонную, единственную вселенную застилали сознание. Перемена обстановки чуть привела в чувство. Извицкий глянул на мир: вдруг увидел себя, себя, идущего прямо из-за угла навстречу, чуть сгорбленного, с дрожащими руками, с распростертыми объятиями. Он ринулся, но понял, что он уже у себя. Видение исчезло, но мир словно был залит яйностью.

«Женичка, Женичка — не надо», — успокаивал он себя. Ум мутился, формально он сознавал, что надо идти домой, в конуру. Побрел пешком, по залитой несуществующим улице. Но везде из-за домов, из-за кустарников, из-за машин выплывали части собственного тела. Сладострастные, обнаженные, с мутящей ум

прозрачностью кожи, они были точно плывущее по миру собственное, родное сердце, которое хотелось зацеловать. Руками, теплотой собственной ладони он тянулся согреть их. «Игрун», — мелькнуло, усмехаясь, в его уме.

Наконец, объекты исчезли.

Кроме сверх-изнеженной, почти девичьей, еле видимой части внутренней стороны ляжки, которая долго не исчезала, точно умоляя поцелуя. Она появлялась то в окнах домов, то прямо в небе. Наконец, и она исчезла.

Некоторое время прошло в полном отсутствии.

И вдруг разом, прямо из подворотни, высунулась собственная голова, с раскрытым ртом. Она обнажила язык и как бы подмигнула неподвижным глазком.

Извицкий понял, что дальше идти этими боковыми изгибами уже нельзя, что так можно и доиграться, ибо, как говорится, хорошенького понемножку. Он смог остановить себя; вела его любовь к своему «я» в целом.

Теперь он полностью ощущал видимость, как продолжение себя, вернее как собственную тень. Тень своей законченной и единственной личности. Только иногда появлялся, как бы извне, свой неповторимый, уже не расчлененный образ, в ореоле и нередко в каких-то неземных, исчезающих знаменах. Он пытался уловить себя, но потом вдруг с нежностью и радостным ужасом обнаруживал присутствие родного «я» внутри, и непомерное, вселенское торжество распирало грудь. Видимость становилась все чернее и чернее, точно непроницаемая ночь охватывала ее, но тем более билось внутри и ласкалось о самое себя солнце — собственное «я». Внутри вопила одна голая, неистребимая «субъективность». Извицкий посылал в воздух поцелуи, стараясь вдохнуть их в себя. Несколько раз он останавливался, прислонившись к «дереву».

Нежность кожи уходила в кровь и разносилась вместе с ней к сердцу и мозгу. А нежность ее была так велика, что казалось эта кожа могла легко, как пушинка, сдернуться и оказаться перед глазами в воздухе, где ее можно, не ощущая ни боли, ни стона, сжать и зацеловать, как ребенка.

Глаза томились и болели ненужностью иногда вдруг всплывающего мира.

Он не заметил, что уже был дома и «глядел» в окно. Некий свет как планета, взошел в нем: то было родное, сияющее, непостижимое Я, таинственное, бесконечное и единствен но реальное среди всей этой шевелящейся помойки полу-небытия. Он видел

«над своей головой» — точно поток звезд, точно острие бессмертного Я, которое «выходило» из тела как из своей теплой постели. И его тянуло пронзить это родное, духовное «я» своим членом, охватить спермой как фонтаном, потопить его в неге и в неповторимой, содрогающейся ласке за то, что оно — его «я». И он чувствовал, что это чистое, выделенное Я, этот центр, пламенеет от нежности и отвечает на его ласку.

В то же время в неге окутывалась, сжималась и пульсировала — и его собственная индивидуальность, душа, родная и неповторимая, таинственно и сладостно связанная с Я.

И тело тоже дрожало нескончаемой, проникающей внутрь дрожью самолюбви, потому что и оно, тело, тоже было освящено Я, как бы пропитано его бессмертными яйными брызгами. Все это: и чистое Я, и душа и тело, поскольку они были его, составляло единый неповторимый синтез, исходящий визг, на вершине которого сияло вечное Я. Он не понимал то ли он молится, то ли находится в экстазе любви.

Где-то, за гранью, мелькало непознаваемой полосой трансцендентое «Я», родное, скрытое, и к нему точно бросалась черной и сверхчеловеческой пеной нежная и бьющаяся сперма.

Крик, один крик стоял в его душе.

Мгновеньями он видел себя то приближающимся из темной глубины, то парящим в небе, то врезающимся в звезды, то сладострастно-голым и извивающимся. Внезапно до того родным и близким, что чуть ли не смешанные с кровью слезы капали из глаз и душа содрогалась, целуя сама себя. Секундами он чувствовал, впадая в забытье, прикосновение к самому себе, особенно к нежно-пухлому животу собственного тела. Впивался в себя животом и душа выходила навстречу самой себе, поднимаясь, целуя подножие высшего «я», докатывая до него сладостные, телесные волны самолюбви. И в «я», в родном «я», раздавался уходящий внутрь, в бесконечность, ответный стон той же само-любви. Губы, покрываясь пеной, касались собственных губ.

«Миленький, миленький», — зашептал он вдруг, как бы обнимая свою спину, и тело провалилось в себя, точно в бездонную, но родную пропасть.

Самоощущение, лаская себя, выло от наслаждения...

И вдруг откуда-то вырвался чудовищный, долгий и целующий стон, потом поток, и он увидел себя озаренным светом, поднимающимся в небо, и в то же время бессмертно-родным, не уходящим от себя.

— Ты будешь вечен, любимый! — закричал он в небо, — ты будешь вечен…

И обессиленный упал на пол…

XVIII

Покинув всех, Федор, проведя несколько дней у Ипатьевны, приближался к Москве. Даже Клавенька — сестра — уже не интересовала его. Каменное лицо его сдвинулось, и в глубине было видно жуткое, последнее вдохновение. Он осторожно обходил даже тихих, вкрадчивых девочек.

Район Москвы, где оказался Федор, напоминал своею прелестью подножие ада. В стороне по холмам виднелись прилепившиеся друг к другу, словно в непотребной, грязной сексуальной ласке, бараки. Деревца, хоронившиеся между, казалось, давно сошли с ума. Слева от Федора на бараки наступали бесконечными идиотообразными рядами новые, не отличимые друг от друга, дома-коробочки. Это была испорченная Москва, исковерканный район.

С умеренным удовольствием Федор впитывал в себя запахи извращения. В город он приехал, чтобы осуществить свое новое, нарастающее желание: убить всех «метафизических», т.е. Извицкого, Анну, Падова и Ремина…

Кое-какие адреса были у него в кармане. Уничтожающая мозг, остановившаяся радость была в его душе. Когда она врезывалась в сознание, он выл. Выл — вглядываясь в поколебленный для него внешний мир, как в уползающий запредельный.

Сел на отходящий в далекие концы бараков трамвай и, ошарашив кондуктора своим непомерно-мертвым взглядом, взял билет. Отошел в сторону и, пожевав, съел билет, мутно оглядывая серое непроходимое пространство вдали.

Причиной его смертоносного желания была нарастающая, бурная потребность прорваться в потустороннее.

Или иными словами поступить согласно своему внутреннему состоянию, состоянию, которому, казалось, не было наименования на человеческом языке. И «метафизические» как раз отвечали его тайне. «Кроме них никого убивать нету, — улыбаясь в себя, бормотал Федор, — остальные и так мертвые…»

Осознаваемую часть своего состояния он мутно и неповоротливо, с провалами, все же выражал перед собою. (Остальное было навеки погребено для человека). Ему стирающе

казалось, что убийство этих наиболее духовных людей, можно даже сказать наполненных духом, разрешит какую-то тайну, может быть тайну существования души, прервет сон мира и вызовет сдвиг в запредельном. Именно поэтому — над ним, над самим духом! — Федор так тянулся сейчас совершить свое, Сонновское. «Это что за жертвы были... А здесь я нож словно в саму душу вонзаю... В самую сердцевину», — повторял Федор. Ему виделось, что после этого акта с ним самим произойдет что-то значительное и невероятное и он окажется где-то между мирами. Иногда при этих видениях голова его поворачивалась вверх, к небу, и холодные капли пота уходили внутрь тела. А глаза обычно наполнялись тем, что отсутствовало даже на дне «я».

Кроме этого внутреннего состояния, оболочка которого еще как-то осознавалась им самим и которое в целом явилось причиной его желания уничтожить своих необычных друзей, были еще параллельные, странные, подспудные, иногда второстепенные ощущения и даже эмоции, черной вереницей сопровождающие его потребность.

Порой, мельком, в бессвязной, почти подсознательной форме, проходили мысли, что во время самого убийства он вдруг увидит, что душа — иллюзия и вся его деятельность — только страшная забава. Но взамен точно откроется дыра в некую другую реальность и он увидит, что то, что было душой, есть лишь уловленное поле, смятый, искаженный луч какой-то бездонной, почти непонятной реальности, которая неприступна. И что он гонялся только за тенями.

Порой наоборот — опять подсознательно, снимая предыдущее ощущение, но все же удерживая его внутри — поднимались величие этого будущего убийства, его сверхъестественная значимость и небывалое чувство, которое, казалось, могло охватить любую скрытую реальность.

Одновременно более трогательные и даже чуть детские чувства копошились в его нутре, точно обвиваясь вокруг всего жуткого, Сонновского. Его охватывало умиление, когда он представлял себе, как Анна упадет на землю и будет «умничать» в луже крови.

Еще большая умильность находила на него, когда он представлял себе их трупы, на которые он заранее не мог смотреть без нежности. И предвкушал собственное, почти благоговейное, религиозное настроение.

Видел себя в белом.

Порой же — в эмоции — все заслоняло одно: величие и величие...

Но все это было лишь легкой дымкой и не заслоняло главного, Сонновского.

XIX

Федор ехал в трамвае, приближаясь к одному грязному, но в чахлой зелени, району бараков. Там ему нужно было неотложно, по делу, повидаться с одним тихим, давно ему знакомым человеком. Трамвай, казалось, был выше раскинувшихся кругом домов — сараюшек с черными дырами вместо глаз. Из этих дыр выходили помятые, точно не от самих себя люди. Федор слез на «площади» и, оглядываясь на корявистый столб, поплелся к приземистому бараку. Облака гуляли в небе, точно отражения его мыслей.

В коридоре барака его встретили визг, апокалипсический по отношению к крысам стук посуды и пугающе-немой хохот. Из кухни выползла девочка, онанирующая на игрушечном коне. Федор, коченея душой, постучал в дальнюю, у темного окна, дверь. Комната, куда он зашел, была наредкость огромна; лысый, в средних летах, мужчина в свитере и с уголовным лицом радостно приветствовал Федора, подняв обе свои тяжелые руки вверх и соскочив со стула. Остальные три человека, сидящие по углам, не пошевелились. Федор отстранил лысого и сел за стол, покрытый белой, как ангельская кровь, скатертью. Лысый тут же присел рядом и как ни в чем не бывало продолжал свое занятие: всаживать в пол непомерный, жуткий нож. Огромная женщина, стоявшая у стены, пошевелилсь. Бледный человечек около нее играл на полу сам с собой в карты, харкая вокруг. Мощно-неповоротливый детина с мелкими волосиками и вялым, прыщеватым лицом душегуба стал обходить комнатные цветочки по подоконникам, внимательно-отчужденно обнюхивая их. Так прошло некоторое время. Федор плыл в бесконечность. Наконец, огромная женщина, сложив руки на груди, подошла к столу и, глядя на Федора, захохотала диким, лошадим голосом.

Федор вдруг застеснялся такого заигрывания; он даже чуть покраснел от смущения: в иные мгновения Соннов был чист и робок, как дитя.

Женщина, не отрываясь, смотрела на него своими помойными, но в то же время удивительно светлыми, все охватывающими

глазами. Еще мгновение — и она, казалось, изнасилует Федора. Даже груди ее чувствовались, как орудие насилия. Но мощно-неповоротливый мужчина подошел к ней и осторожно, положив лапу на плечо, что-то проговорил. Женщина села на стул, устремив взор в полу-помойку, полуполяну, виднеющуюся за серым окном.

Федор встал и, кивнув на дверь этому мужчине с лицом душегуба, пошел к выходу. Проходя мимо, остановился и дружелюбно-отсутствующе подергал за нос огромную женщину.

Лысый продолжал забивать нож в пол.

Федор очутился с «душегубом» за дверью, в конце коридора, у темного окна. Минут семь-десять они о чем-то переговаривались. Потом Федор, облапив за шею «душе губа», махнул рукой и пошел к выходу.

Светлый, земной мир встретил его ласковыми, щебечущими звуками и небом. Посмотрев вдаль, Федор заковылял к трамваю. Вскоре трамвай уже медленно катился мимо ровных домов-коробочек. Грязный крик отдаленно доносился до слуха Федора. Странно, но здесь в этих до предела близких домах — копошилась та же смрадно-вечная жизнь, что и в бараках. Но выглядевшая на фоне этой полной безликости еще более ненормальной и затерянной. Лишь начавшееся загрязнение «коробочек» придавало отдельным местам индивидуальные оттенки.

Наконец, Соннов оказался в старом районе Москвы.

Федор сошел у маленького, летнего, безлюдного кафе. Безразлично попивая сок, думал о своем. Мысли уходили далеко, далеко, в засуществующее; собственное сознание казалось одиноким, слегка чудным, хотя и своим, но таинственно-неизвестным, как марсианский ветер; Федор и думал о себе, точно о марсианском путешественнике. Равнодушно щупал ноги, как стол. Состояние вело дальше, к убийству «метафизических». Он совершенно отбросил всякую мысль о внешних последствиях; ему было безразлично, что с ним будет потом — арестуют его или уничтожат; единственное, что интересовало его — это новое, всеохватывающее убийство, последнее свершение, после которого все на земле станет третьесортным и сам он, может быть, уйдет в новую форму бытия; и поэтому все предосторожности, которые он принимал раньше, готовясь к своим прежним, как ему теперь казалось, «мелким» убийствам, отпадали за ненадобностью.

Формально он решил использовать два адреса, которые он узнал случайно еще раньше из разговоров с Падовым и Анной: один московской квартиры Извицкого, однокомнатной и забро-

шенной, в которой он жил один; другой — Падовского подмосковного «гнезда», где, как он слышал, должны были приютиться сейчас «метафизические». Последний особенно привлекал Федора: его тянуло сразу, одним ударом, совершить свое действо. Но, подумав, он решил сначала забрести к Извицкому, а потом сразу ринуться в Падовское «гнездо».

Нечеловечески Федор тащился мимо старинных, многоэтажных домов по безлюдным арбатским переулкам. Останавливался посмотреть в пустоту. Вглядывался в еле возникающие фигурки людей; косился на окна, которые меркли в своем безразличии.

Вход в квартиру Извицкого был со двора; дворик оказался почти петербургский: маленький, холодный, зажатый между громадами каменных семиэтажных домов; но все же безобразно-загаженный мертвой, серо-исчезающей и все-таки вонючей помойкой.

Лестница вела ввысь круто, с какими-то безжизненными провалами по бокам, и кажется по черному ходу; там и сям виднелись грязные, оборванные двери квартир; еле слышались голоса; но Федор знал, что здесь единственный ход в комнату Извицкого; он тяжело дышал, поднимаясь, и все время ловил взглядом свет из каких-нибудь полу-окон, полу-щелей; когда же была полная тьма, поворачивал голову в сторону по еле слышному, тихому повелению; в кармане нелепо болтался нож.

Наконец, на самом верху засветилась какая-то щель; по холодному и тупому вздрагиванью сердца Федор понял, что это квартира Извицкого. Странная истома овладела им; на лице был пот, а в глубине слышалось пение; самобытие поднималось внутри себя, чувствуя окружающее, как запредельное и смерть. Федор увидел, что дверь слегка приоткрыта и, словно прижавшись к пустоте, осторожно заглянул внутрь... То, что он увидел поразило его: нелепо-захламленный какими-то полу-старинными, полу-будущими вещами угол комнаты, огромное, как бы вовлекающее в себя зеркало, перед ним оборванное, вольтеровское кресло и в нем — Извицкий, в исступленной позе глядящий на себя в зеркало. Федор сжался, чувствуя невозможное. Машинально вынул нож. И вдруг услышал стоны, бесконечные, глубокие, словно исходящие из самовлюбленной бездны. Федор застыл, всматриваясь в отражение и не мог двинуться с места.

Глаза Извицкого, широко раскрытые, напоенные каким-то жутким, пугающим себя откровением, в упор, не отрываясь смотрели на точно такие же широко раскрытые глаза своего двойника. Федору все хорошо было видно. Два лика Извицкого дрожали в непередаваемой, бросающейся навстречу друг другу

ласке; кожа лица млела от нежности; неподвижны были только глядящие друг на друга, готовые выпрыгнуть из орбит глаза, в которых застыла самонежность, ужас перед «я» и безумие нечеловеческого переворота. Все полуобнаженное тело Извицкого и его лицо выражало нескончаемое сладострастие, бред самовосторга, страх перед собой, смешанный с трепетом приближающегося оргазма, и порыв броситься на собственное отражение. Волосы были всклокочены, рука тянулась к своему двойнику и, встречаясь, две руки дрожали от возбуждения, готовые проникнуть в себя и утопить друг друга в нежности. Все тело, казалось, источало сперму и дрожало в непрекращающемся, спонтанном оргазме, точно вся кожа, каждая из миллионов ее пор, превратилась в истекающий кончик члена. Стон от двух лиц шел навстречу друг другу. Зеркало было холодно и невозмутимо, как мир, Из дальнего угла в нем отражался страшный портрет Достоевского, Достоевского с неподвижным и страдальческим взором.

Вдруг Извицкий ринулся навстречу себе, в бездну; лицо его припало к своему отражению, а тело изогнулось; губы искривились и стали целовать губы; по всему пространству пополз шепот: «милый, милый, любимый»; нервная судорога сладострастия прошла по влажной щеке; брови изогнулись, словно по ним провел невидимой рукой больной ангел; глаза были закрыты, как у мертвеца в припадке страсти; Федору была хорошо видна сзади сладостная шея, нервнодрожащая, потеющая, извивающаяся каждой своей складочкой... В этот момент Федор инстинктивно двинулся, чтобы вонзить нож в эту шею; но вдруг невероятная, бесконечная истома овладела им и парализовала его. При мысли о том, что он прервет этот невыразимосладострастный, нежный, бесконечно-купающийся в себе акт само-любви, жалость сразила его, как громом. Даже слабого подобия такой жалости он не испытывал никогда, ни к кому, даже к себе.

Как только он понял суть того, что перед ним происходит, он ощутил это, как чудо, как взрыв; если бы Извицкий возился с любовницей или с кем-нибудь еще, он, не задумываясь, прикончил бы обоих; но... убить человека, который так любит себя; любит неистово, до умопомешательства, до слез; это значило бы прервать жизнь столь чудовищно-амовлюбленную, представляющую для самой себя не только сверхценность, но и абсолют... У кого бы поднялась на это рука?! ...Все это в секунду, в единую обобщенную мысль пронеслось в мозгу Федора; он чувствовал, что не в силах убить существо, столь неистово, патологически лю-

бящее себя; это значило бы коснуться чего-то нового, невиданного, болезненно-потустороннего, слишком сверх-родного для себя. Федор вообразил, как ужасающе-непредставимо было бы этому существу прощаться (хотя бы на миг) с самим собой, с родным, бесконечным; тем более в такой момент неистового оргазма по отношению к себе; ему почудилось, что умирая этот человек будет лизать собственную кровь, как сперму, как истекающее наслаждение и плакать такими слезами, от которых перевернется мир.

Между тем, нож поблескивал в руке Федора и отражался в глубине зеркала, где-то рядом с портретом Достоевского. Однако Извицкий, поглощенный страстью к себе, ничего не замечал; как огромная потусторонняя жаба он ползал по зеркалу, стараясь обнять свое отражение... Федор дрогнул, бросил в карман нож и испугался его смертоносного прикосновения; теперь он боялся даже на секунду прервать этот чудовищный акт; страшась самого себя, своего неожиданного взрыва и возможного удара по этому дрожащему телу, он попятился и, незамеченный, тихо проник за дверь. Не шелохнувшись простоял около нее минуты две, дыша в камень. И стал крадучись, оглядываясь на пустоты, спускаться по черной лестнице...

И вдруг Федор услышал — из только что покинутой им комнаты, дверь была полуоткрыта — холодный, отвлеченный, нечеловеческий хохот, точно раздающийся из огромного, непостижимо-оборванного кресла. И память об этом хохоте преследовала Федора до самого конца его пути, по всей черной, с бесконечными поворотами и провалами лестнице. Очевидно, все было окончено и Извицкий «отдыхал», глядя на себя в зеркало.

Ничего не различая, в пене, Федор выбежал во двор. Но между тем прежнее, всевластное состояние: убить этих невероятных, встретившихся ему личностей, не покидало его. Он весь выл от противоречия. Это было несравнимо более значительное, чем срыв с Михеем, о котором он даже не пожалел. Здесь был другой, страшный, глубокий срыв, когда собственной потусторонности тоже противостояла иная, но уже не менее мощная потусторонность, которая пронзила его своими флюидами. В бешенстве Федор решил тут же броситься дальше, под Москву, в Падовское гнездо, чтобы застать всех, и Падова, и Анну, и Ремина, и осуществить наконец свой замысел.

XX

Уже несколько дней Алеша Христофоров не мог придти в себя: папенька, его папенька исчез. Действительно, Алеша, с трудом

разысканный Падовым, вскоре приехал в покинутое Лебединое, чтобы забрать «Андрея Никитича». Сначала все было хорошо: Алеша, правда, с неприятностями, нашел обезжизненного куро-трупа где-то в стороне, на печке; благополучно, держа его за руку, как мертвого идола, довез до дому; в Сонновском доме осталась одна поганая кошка, которая, не находя пустого места Михея, лизала столбы. Алеша положил спать папулю рядом с собой, на соседнем диване, хотя куро-труп вяло сопротивлялся, кажется, воздуху. Дело еще осложнялось тем, что наутро должны были прийти, обеспокоенные долгим отсутствием Андрея Никитича, его нетерпеливые ученики, которых Андрей Никитич воспитывал в духе христианства и всеобщей любви. Алеша, разумеется, не надеялся на какую-либо коммуникацию: он понял это сразу по мертво-надменному лицу куро-трупа, в котором не было даже бессмыслия; по абсолютному молчанию. Он даже не попытался рассказать отцу в чем дело; все его мысли были направлены на то, чтобы как-нибудь съюлить и отвадить жаждущих спасения юных христиан. Усугублялось еще тем, что молодые люди уже подозревали что-то неладное в том смысле, что Алеша-де прячет своего отца, и были настроены весьма воинственно.

Рано утром Христофорова разбудил показавшийся ему ублюдочно-настырным стук в дверь; впопыхах, в одной рубашке, он открыл и обомлел: перед ним стояло несколько учеников Андрея Никитича.

— О чем бы вы хотели с ним поговорить? — нелепо проговорил Алеша.

— Как о чем, — обиделся один из юношей. — Наша тема: «Бог есть любовь»; мы уже два месяца ждем этой беседы.

В этот момент вдали коридора промелькнуло мертвое, ни на что не похожее лицо куро-трупа; юноши тем не менее что-то радостно вскрикнули; но перепуганный Алеша, в отчаянии, обалдело захлопнул перед ними дверь; юноши завыли, Алеша бросился к папеньке, но последний не реагировал на происшедшее, совершенно не замечая ничего вокруг; Алешенька опять бросился к двери, в которую колотили; разыгралась шумная, психопатическая сцена, во время которой собрались почти все жильцы со двора и растерзанный Алеша колотил себя в грудь. Когда все относительно уладилось, Алеша кинулся посмотреть на отца; но куро-трупа нигде не было, ни в здании, ни в окрестности. Не помог и розыск милиции. В крике Алешенька метался по Москве, от одного священника к другому, от одного приятеля к третьему. Наконец, узнав, что «падовские» осели в своем старом гнезде,

расположенном в двадцати километрах от Москвы, Алеша ринулся туда, ожидая хоть от Падова и Анны услышать что-нибудь об отце.

Гнездо Падовских приютилось на отшибе одного селения, около довольно безлюдной дороги; оно представляло собой одноэтажный домик, скрюченный и покосившийся, прикрытый не то травкой, не то кустами. В доме была всего одна большая комната, но рядом различные закутки; одно окно было сбито набекрень, второе почему-то заколочено.

Христофоров прямо-таки влетел в дом; в комнате было темно, две свечи освещали сидевших на полу людей; то были Падов, Ремин, Анна, Игорек и еще двое, Сашенька и Вадимушка, совсем юные, из новичков, которых Падов привез, чтобы воспитать молодую поросль. Их еще почти детские розовые мордочки млели от радости в мрачном полусвете свечей. Кажется, только что кто-то выл. Вместе с тем доносились слова знаменитой шизоидной песни: «...И увидев себя на портрете, мой козел подхватил трипперок...».

Христофоров с хода, неожиданно закричал:

— Отца, отца потерял! Папу!!

— Куро-трупа? — сонно проговорил Падов.

— Не куро-трупа, отца! — взвизгнул Алешенька, надвигаясь на стену.

— Да ты успокойся, расскажи, — пробормотал Ремин.

— Господь вон тоже своего Отца Небесного, потерял; на время; но потом же, говорят, нашел, — не удержавшись, вставила Анна.

Через несколько минут, каким-то странным, непонятным образом разговор о потери куро-трупа перескочил на Бога.

— Не приемлю, не приемлю! — визжал Падов, — я хочу быть Творцом самого себя, а не сотворенным; если Творец есть, то я хочу уничтожить эту зависимость, а не тупо выть по этому поводу от восторга.

Из угла поднялась Анна; ее лицо горело.

— Наша тварность может быть иллюзией; по существу это вера; решительно утверждать можно только то, что мы как будто не знаем откуда появились; поэтому мы имеем право, такое же как и вы, верующие в Творца, верить в то — ибо это для нас предпочтительней — что мы произошли из самих себя и не обязаны жизнью никому, кроме себя. Все в «я» и для «я»!

Но Христофоров уже затопал ногами:

— Ничего не хочу слышать, верните мне моего отца!

Он, как тень, метался по комнате из угла в угол, расшвыривая

какие-то тряпки, лежащие на полу; Сашенька и Вадимушка, разинув рты, как два галчонка, с любопытством смотрели на него.

— Это вы довели моего отца до сумасшествия! — кричал Христофоров. — До вас он был тихий и верующий; вы сделали его идиотом...

Каковы наши-то христиане, — хихикал, корчась от утробного восторга, Падов. — Сразу за рационализм схватился... Сумасшедший... Больной... Медицина... Где врачи?!! — передразнивал он. — А невдомек, что никакие врачи тут не при деле...

— Вот в том-то и гвоздь, — подхватил Ремин, — что это псевдо-христианство слишком рационально для нашего сознания; в конце концов оно просто недостаточно абсурдно для нас...

— Ничего не хочу слышать! — вопил Христофоров. — Вы обернули моего отца в идиота...

— Если конечно идиотом называть каждого, кто находится не в этом мире, — пискнул в ответ Игорек.

Наконец, Христофорова уняли. Под конец он разрыдался. «Простите меня», — нелепо пробормотал он.

— Ну ты же видишь, Алеша, что мы не при чем, — растрогалась Анна, — кто знает, что может с каждым из нас произойти...

— Но все-таки мы верим в наше «я», в его бессмертие и победу над миром, — вдруг загорелся, вмешавшись, Ремин. — Больше не во что верить, а тем более любить.

— Что с вами произошло? — вдруг, словно очнувшись от своего горя, проговорил Христофоров. — Вы никак стали Глубевцами?!...

Он был прав наполовину.

События развивались так, что покинув Лебединое, Ремин ринулся искать встречи с глубевцами и в конце концов нашел тех, кого искал. Он провел в их обществе несколько дней и поехал от них в Падовское гнездо — куда уже прибыла (после истории с Извицким) радостно встреченная Анна — преображенный, взъерошенный, охваченный каким-то приступом веры в религию Я. Здесь он заразил всех своим упоением: вероятно все ждали этого взрыва или просто в душе накопилось слишком много любви к «я» и жажды его вечности и бессмертия. Даже Падов — по мере сил и возможностей — утихомиривал свои негативные силы...

Поэтому Христофоров попал в самую точку; при упоминании о религии Я и Анна, и Падов, и Ремин, и даже Игорек взвыли; юные — Сашенька и Вадимушка — сидящие бок о бок, насторожились.

Ремин, шатаясь, отошел в сторону, к окну. Искаженный свет выделил его белое лицо; казалось, что-то ворочалось по углам; но старые бутылки из-под водки, нелепое тряпье на полу были безжизненны.

— Наше «я» — единственная реальность и высшая ценность, — заговорил Ремин, — надо не только верить в его бессмертие и в его абсолютность; не только любить свое «я» бесконечной духовной любовью; надо попытаться реализовать это высшее Я при жизни, жить им; испытывать от этого наслаждение; перевернуть все на сто восемьдесят градусов; и тогда мир превратится в стадо теней; все, что есть в нас тварного, зависимого, исчезнет; а Бог — это понятие имеет смысл только, если оно не отделено от «я»... — Ремин захлебывался. — Жить в «я», жить новой духовностью...

Было такое чувство, будто все метались в самих себе и к себе; руки Анны словно тянулись ввысь; казалось, воздух дрожал от тайных желаний и всплеска спасения; один Христофоров угрюмо молчал.

Анна, мельком взглянув на него, вдруг почувствовала ощущение какого-то органического превосходства; не удержавшись, чуть согнувшись, так что по всему телу прошло это ощущение превосходства, его дрожь, она подсела и с умилением погладила руку Христофорова; ему показалось, что где-то сзади него, в углу, запричитала помойная крыса.

— Одна деталь, Алешенька, одна деталь, — прошипела Анна, погрузив Христофорова в свои глаза. — Я хочу сказать об усладе солипсизма. Причем, это особенный необычный солипсизм... Так вот, Алешенька, — погладила она Христофорова, — тебе никогда не познать, понимаешь... никогда, какое наслаждение считать себя не просто центром мира, но и единственно существующим... А всего остального — нет... ..Тень... И даже не тень, ...А как бы нет... Какая это радость, какое самоутверждение... Никакая гениальность, никакое посвящение с этим не сравнится... Подумай только, вживись, столкнись с этим фактом — ничего нет, кроме меня, — ноздри Анны как-то даже чувственно задрожали от наслаждения. Христофорова передернуло от отвращения. — Какой это восторг, какая тайна, какое объятие!.. Чувство исчезнования мира пред солнцем «я»!!... Ничего нет, кроме меня!.. Это надо ощутить во всей полноте, каждой клеточкой, каждой минутой существования; жить и дрожать этим... А «абсурд», чем абсурднее, тем истиннее... ведь «я» над всем, и ему плевать... Тьфу — миру, все в «я»...

Падов затрясся от восторга; в пыли и тенях этой странной, огромной комнаты он пополз к Анне и Христофорову.

— Солипсизьм — слово-то какое, — утробно захихикал Падов. — Правда, Аннуля, в самом этом слове есть что-то склизкое, тайное, извивное... Даже сексуальное.

Анна захохотала.

— Представляю себе: два солипсиста в постельке, он и она, — Аннуля подмигнула Падову. — А недурственно: любовь между двумя солипсульками.

Падов завопил, протянув к ней руки: «Родная!» Он, так и причмокивая, просюсюкал это извивно-сексуальное слово: «Солипсулька!»

В этот момент Христофоров вскочил с места. Больше он не мог терпеть. Картина целующихся солипсистов стояла в его глазах, как кошмар. Он даже забыл, что любил когда-то Анну, с него хватало и чисто трансцендентного ужаса. Оттолкнув какую-то табуретку, Христофоров двинулся к выходу.

— А как же папенька!! — провыл ему вслед Падов.

Но Христофоров уже хлопнул дверью. Его встретили дождь, ветер и прячущееся солнце.

Тем временем в комнате Падовского гнезда, накаленной от обнажившихся душ, продолжалась мистерия веры в «я».

Но старые, темные силы противостояния и ухода вдруг снова оживились в Падове.

— Господа! — произнес он. — Хорошо, вы стремитесь к бессмертному вечному Я, которое в вас самих. В человеке есть разные «я». Все дело в том, к какому «я» вы стремитесь!.. Есть своего рода Я на уровне Брахмана, Бога в самом себе, Абсолюта; есть Я на уровне богов; есть наконец, псевдо-я, эго, иллюзия Я, есть и другое... Допустим-допустим, я не спорю, вы найдете может быть, скажем в пределах индуизма правильный путь к высшему Я, путь к Богу, который внутри вас, и который неотличим даже от Брахмана, от Абсолюта; и это ваше высшее Я, этот Бог, и окажется вашим подлинным, реальным Я; пропадет ненавистное отчуждение Я от Бога, рухнет дуализм... Может быть, иное: вы придете к этому вечному в пределах глубевской религии Я, которая еще более радикальна, чем индуизм, и которая идет несколько другими путями... Может быть... Но вот что: если я захочу послать все в Бездну: и это я, и абсолютную реальность, и Нирвану, и Бога, и даже Бога, который во мне и который есть мое же высшее Я... Если я все это захочу отвергнуть! Что вы на это скажете!? Конечно это все прекрасно, и к тому же бессмертие,

человеческая тоска и надежда... Но я слышу зов какой-то бездны... К тому же я извечный негативист, отрицатель... Наконец, другой момент: а что если появление иного принципа?

У окна захохотал Ремин.

— Но что же ты предлагаешь? — начал он. — Что?! ...Бездну?! ...Да от этого с ума можно сойти! ...Главное: ведь существует любовь, любовь к этому своему вечному Я! Ведь в любви к нему, в стремлении обладать им во всей его вечности — вот в чем дело! Значит, у тебя нет полной, окончательной любви к своему высшему Я, раз тебя тянут какие-то немыслимые бездны или просто скорее всего отрицание... Нет, нет, все должно быть направлено на то, что любишь, на свое бессмертное Я: и вера, и порыв, и метафизические знания, и всё, всё, всё. И тогда, используя древние методы, знания, медитацию, мы воочию, практически обретем вечность и рухнут все завесы, и потустороннее перестанет быть потусторонним...

...Вдруг послышалось некое шевеление, писк и из-за какого-то рваного, ободранного стола вылез юный Сашенька. Губы его дрожали. Он плохо понял, конечно, главную нить этого разговора, ибо мысли его двигались только в одном направлении.

— А если не хватает терпения!.. — закричал он каким-то нечеловечьи визгливым голосом. — Если не хватает терпения!... Я, например, уже больше не могу... ожидать смерти и того, что там, за занавесом! У меня болят нервы... Надо порвать, порвать — наглядно, чтоб всем было доступно, а не только единицам — этот занавес, чтобы воспринимаемый тогда потусторонний мир стал повседневностью, частью нас самих! — закричал он, весь трясясь. — Чтоб рухнула преграда... Чтобы все слилось... И тогда и тогда, — он внутренне как бы усладился, — все изменится... человечество освободится от всех своих земных кошмаров; голод, война, страх перед смертью потеряют свой смысл; рухнет тюрьма государства, ибо она бессильна пред духовным миром... все перевернется...

— Ишь, куда понесло, — улыбнулась Анна. — В социальщину... Ну, это по юности... Ты еще организуй партию под названием «Загробная»... Программа и цель: порвать занавес... Со всеми последствиями... Сашенька, ведь до сих пор все старались наоборот уберечь человечество от знания потустороннего. Боюсь, что ваш прорыв приведет к замене земных кошмаров другими, более фундаментальными... Впрочем, все это имеет смысл.

Но никто не реагировал на ее ворчание, все берегли и щадили «юных»; вместе с тем непомерный взрыв Сашеньки, сам его вид:

еще мальчика с блуждающими глазами, точно устремленными в неведомое, спровоцировали у каждого виденье своего запредельного.

Воздух опять был напоен непознаваемым, истерически инспирированными призраками и хохотком, утробно-потусторонним, точно лающим в себя, хохотком Падова. Все это смешалось с потоками, судорогами любви к «я», с патологическим желанием самоутвердиться в вечности и с виденьем собственного «я» — в ореоле Абсолюта.

Самое время было не вместить... Но душа как-то выносила все это... Только Сашенька и Вадимушка вдруг чего-то не выдержали и попросились домой. Игорек вывел их за ворота.

— Личность должна взять на себя и бремя рода и бремя запредельного! — провизжал он им на прощанье.

Лицо Вадимушки было даже чуть радостно.

Опускалась ночь. В гнезде Падова остались только хозяин, Анна и Ремин. Игорек тоже уехал.

XXI

Федор наблюдал за всем этим из щели. В гнезде Падова было так много соседних полу-комнат закутков, что не представляло труда стеречь рядом, в ожидании.

«Смыть, смыть надо их... недоступные», — боромотал Федор, когда вечером пробирался полутемной тропинкой к дому Падова, когда лез в окно, когда проходил сквозь дыры. Душа вела дальше, в запредельное; каждое дерево, качающееся от ветра, казалось платком, которым махали из потустороннего; каждый выступ, каждый предмет точно неподвижно подмигивали вымученно-нечеловеческими глазами. Федор вспоминал Анну, ее хохотки и улыбку; думал о метафизическом дерганьи Падова. Оскалясь, вспоминал про себя стихи Ремина.

Описанный бурный разговор между обитателями и Христофоровым медленно входил в его душу. Надежно приютившись рядом, по соседству, он медлил, ожидая своего часа. В воображении плыл вспоротый живот Анны и ее крик: «Я.. я.. я.. В вечности, в вечности!» Поэтическую головку Ремина, застывшую в самолюбии, он представлял себе отрезанной и тщетно пытающейся язычком поцеловать самое себя. «Футболом

ее, футболом!» — неистово бормотал Федор, вцепившись в косяк двери. Он словно видел себя на полянке, пред Падовским гнездом, в одной майке, без трусов, потно гоняющим мертвую голову Ремина в качестве футбольного мяча. «Футболом ее, футболом, — причитал он. — И забить, забить навсегда в ворота».

О Падове была особая речь; Федор хотел просто его задушить, глядя в глаза, своими руками; чтобы вместе с хрипом из красного рта выдавливалась и душа, кошмарная, наполненная непостижимым ужасом, задающая себе патологически-неразрешимые вопросы. Он представлял себя накрытым этой душой, как черным покрывалом, и выбегающим из этого дома, как бык, в слепоте, — вперед, вперед, в неизвестность!

Все это не в словах, а в каких-то невыразимых мыслях-состояниях, понимая все по-своему, переживал Федор. Как огромный идол, переминался с ноги на ногу, чуть не подпрыгивая, вслушиваясь в хрип и бормотанье там, за стеной.

Но постепенно некий томный и потусторонний елей обволакивал его душу. Ему стало казаться, что он частично уже нашел то, что искал: в самой душе «метафизических», в их существовании. Смрадно щерился каждому, направленному на «главное», слову Падовских. От этого общения он получал почти такое же ощущение как от убийства.

Это неожиданно немного снизило его желание убивать; однако ж, с другой стороны, это желание еще более вздернулось и укрепилось, именно чтоб разрешить парадокс и реализовать себя во чтобы то ни стало.

Федор настороженно прислушался к этому вдруг нахлынувшему противоречию; чуть дрогнул, испугавшись неосуществления; но потом почувствовал, что мертвая радость от бытия Падовских все равно ведет только к стремлению получить идентичную, но еще более болезненно-высшую радость от их убийства. (Одно напряжение снимается другим, еще более катастрофичным).

Но все-таки он не мог избавиться от искушения продолжать ощущать их живыми. Ибо, о чем бы они ни говорили, он, особенно почему-то сейчас, перед их приближающейся смертью, продолжал ощущать их как нечто потустороннее, присутствующее среди живого здесь; а потустороннее нечего было превращать в постустороннее, то есть убивать; оно и так частично было тем, чем Федор хотел бы видеть весь мир.

Но только частично — все равно и здесь завесу надо было порвать...

Тем временем Федор услышал, что Сашенька и Вадимушка

уходят; ушел и Игорек; Христофоров убежал еще раньше.

Это приближало бытовое выполнение его плана: все-таки трудно было бы даже изощренным способом уничтожить столько людей. Теперь оставались только трое: Анна, Падов и Ремин. Но — главные. И притом наступала ночь.

Федор метался душою в поисках подходящей смерти. Сначала ему пришла в голову мысль их сжечь, живьем, ночью, во время сна, когда видения подступают к горлу. Тем более, рядом, в сарае, было сено.

Огонь, огонь! — сейчас это соответствовало его душе. Но недостаток этого способа был в том, что тогда отпадала возможность заглянуть в глаза умирающим, насытится их видом. Поэтому имел смысл действовать топором — тоже во время сна. В конце концов, уничтожив сразу двоих, одного кого-нибудь — лучше Падова! — можно было бы обласкать, завести с ним разговор, даже поцеловать перед умерщвлением.

Федор не знал на что решится.

Между тем Анна, Ремин и Падов оставались одни в комнате. Большей частию молчали — каждый по своим углам; иногда только раздавались сдавленные стоны, вздохи и обрывочные, точно скачущие между ними, слова.

Анна вставала и как бледный, самонаполненный призрак подходила к окну — пить. Ремин тихо выл — ему виделось собственное, родное «я», покинувшее тело и бродящее в раздвинутых мирах. Оно светилось невиданным яйным светом, расширяясь как звезда, как Вселенная... все дикие, умопостигаемые чудовища исчезали, растворяясь в его лучах. «Я», отожествленное с чистым духом, расширялось и расширялось, и не было конца его торжеству... Но был ли это предел?..

Федор неслышно шевелился за стенкой; он чувствовал дыхание этих состояний; ворочал ржавый, большой топор.

«Только вечность, вечность!!» — кричал Падов, простирая к себе, в небеса, руки.

Словно ломались преграды на пути к зачеловеческому сознанию.

Соннов ждал, сам не зная чего, с топором в руках.

Анна плакала в углу.

Ее пронзила гностическая жалость к себе; по форме, правда, Анна видела свое «я» — по крайней мере внешне — в более человеческой оболочке; она являлась себе девчонкой, бродящей в адо-раю непознаваемого, девчонкой, играющей в прятки с Непостижимым...

«Бессмертия, бессмертия!! Сию же минуту!!» — стонала Анна, лежа на досках ржавой кровати, прильнув к каким-то железным прутьям. Волосы ее разметались, на губах выделялась пена. Казалось, она была готова отдаться этому бессмертию, лишь бы вобрать его в себя.

«Моя милая, моя милая», — лепетала она, останавливая взгляд непонятно на чем.

...Вот она уже плывет среди звезд... А вот — на земле — просто сидит на скамейке... И это свято.

— Бессмертия, бессмертия! — выла она, и пытаясь обнять, зацеловать свое «я», точно простирала из своего сознания к себе самой, духовные руки.

Иногда глаза ее выкатывались от непостижимого счастья и ум мутился от желания объективизировать любовь к себе. Казалось, она сойдет с ума, стараясь выразить любовь к своему «я»; вскочит с постели и, завопит как марсианское чудовище, выбежит на улицу, простирая руки неизвестно к чему.

Федор вслушивался в каждый стон и бормотание «метафизических»; ему снова захотелось вступить с ними в контакт, услышать их разговор и в полной мере ощутить живых Падовских.

Но стоны становились все тише и тише. Очевидно, внутренние бури приближались к концу. Все явственней стояла тишина, даже какая-то духовная тишина. И Падов и Ремин и Анна не издавали ни одного звука.

Федор упрямо ждал. Ночь углублялась и темень в его углу вскоре стала такой, что он ощущал ее, как предмет. В середине ночи Федор почувствовал, что его любимые уснули.

Теперь, как практически, так и по существу, тянуть было нечего.

Но, точно наперекор судьбе, ему захотелось подождать. У него даже возникло желание разбудить их, попить чайку, заглянуть в глазки, поговорить, ни в чем не выдавая себя. И потом — когда они опять заснут — убить. Осторожно он вышел в небольшой коридор — рядом, за чуть прикрытой, стеклянной дверью были и Падов, и Анна, и Ремин.

Федор ступал неслышно, как летучий медведь.

Взрыв — в потустороннее — чувствовал всей своей открытой пастью. Неслышно дышал, точно выделяя одиночество. Топор был в руке, и она угрюмо тянулась к двери. Стены застыли, уходя в несуществование.

Федор — всем сознанием — слушал дыхание лежащего рядом с дверью Ремина. Где ему, спящему, виделось сейчас, в этот страшный момент, его вечное Я?

Раздражала Федора мгновенность перехода; одно движение — в эти минуты он бывал нечеловечески силен и ловок — и все.

В душе опять вспыхивало желание: разбудить, — хотя бы Ремина, чтоб он привстал на кровати — и пообщаться с ним, прямо перед смертью; потрепать его по щеке.

Но наконец Федор решился. Может быть, убийство разрешит большее, чем контакт. Взгляд его отяжелел, точно пред собственной смертью.

Но все-таки ему захотелось чуть-чуть пережить внутри себя предсмертную беседу. Причем в обратной форме. Его сразу потянуло в полное одиночество: просто пройтись минут десять одному по саду; потом прийти — и быстро раздвинуть занавес. Он сжался, странно повеселев от сознания, что теперь его решение равносильно действию; и вышел пройтись — в одиночество — в сад.

Уже немного светлело и воздух был свободен и влажен. Он пошел вдоль забора, любуясь собственной тенью как символом.

Вдруг — из огромной дыры в заборе, сзади него — вышло трое человек. С оружием. Их появление было непонятно.

— Вы арестованы, — сказал один из них.

●

ЭПИЛОГ

Спустя несколько недель по одной из кривых улочек Москвы брели, точно в ореоле бросающейся в глаза ауры, двое юношей: один худой, вытянутый, с трансцендентно-ожидающим, нетерпеливым лицом; другой поменьше, курчавый, словно в сплетении с самим собой. То были Сашенька и Вадимушка. Пустые глаза окон находились по ту сторону их существования. Брели друзья в маленькую, отключенно-нелепую пивнушку, что приютилась одна между сквером и автобазой. Там ждал их Витя — из бродячих философов, старый друг Тани.

Лицо Сашеньки горело.

— Неужели, — говорил он, — нас ждет великое будущее: бессмертие, встречи с духами... падение завес... прощание с человеком и появление новых миров... Неужели все это будет...

— Хи-хи... И это после тупого, идиотически-мертвого вдалбливания в детстве о том, что после смерти ничего нет, — подхихикнул Вадимушка. — Так теперь от этих перспектив на

ногах еле стоишь от изумления... Ничего себе, мягко говоря, перемена...

Но Сашенька его не слушал.

— И я убежден, — шептал он, дрожа от волнения, что послесмертная реальность должна стать объектом не веры, а знания. Этим мы приблизим ее к себе, — Вадимушке даже показалось, что Саша судорожно сжал пальцы и проглотил слюну вожделения. — Вера же должна распространиться на более отдаленное... Почти недоступное...

Вдруг перед ними оказалась дыра в пивную. Из глубины им ощеренно улыбался и махал руками сдержанный Витя. Они подошли. Взгляд Вити был чист и жутко-прозрачен, как зад мертвеца. Взяли обычное пиво. За туманным окном ползла муха, казавшаяся громаднее домов. Речь шла о визите в одну подпольно-метафизическую группу.

— Ну а как контакты с Падовым и К°? — спросил под конец Витя.

— Здорово... Здорово... Невозможно передать как здорово... Чувствую себя как на пляже!! — чуть не распугав по углам инвалидов, закричал Вадимушка.

— Здорово-то здорово, — удивился в ответ Витя. — Но что-то у вас радость занимает чересчур большое место... А это далеко не самое сильное чувство, какое может вызывать Падовский мир... Ведь он довольно мрачен...

Неожиданно Вадимушка взорвался. Он даже схватил Витю за пуговицу куртки.

— Да поймите, Виктор, — пробормотал он, — мы только что пришли к вам совсем из другого мира... — лицо Вадимушки вдруг перекосилось от отвращения. — Да знаете ли вы, что такое среднее, а я бы сказал, расширив, просто человеческое сознание??! ...Я готов принять Дьявола, преисподню, страдания ада, самое изощренное зло, но только не это... Ведь это вечность ничтожеста, нуль, ставший погремушкой, наконец, абсолютно противоположная нам направленность...

Виктор в знак очевидности пожал плечами.

— И все что они сделали и делают. — продолжал Вадимушка, — что составляет так сказать, официальную, не духовную и не эзотерическую история человечества — не наше... Это качественно другое, низшее. ...Тем более по сравнению с опять зарождающейся, новой элитой или кастой, как хотите, внутри человечества — кастой духократии... Другая, высшая реальность — другой

мир... Не их клопы, все эти Наполеоны и Дарвины... Я молодой и то это чувствую...

— Если так, — вмешался Сашенька, — то нам надо защититься от них... Нашей земной броней может стать интеллигенция... Если только ее лучшая часть впитает в себя идею духократии... Духократия, грубо говоря, может играть роль древнеегипетских жрецов, а осознавшая себя интеллигенция, ставшая наконец, после долгих лет прислужничества чуждым идеям, сама во главе человечества, будет как бы земной оболочкой духократии, ее внешней защитой, вторым сословием...

Виктор рассмеялся.

— Ну-ну, не очень-то увлекайтесь всем этим, прервал он. — Наша задача — уйти от человечества, а не определиться среди них... Даже властвовать над ними значит унизить себя, так как будешь в какой-то связи с ними...

Еще раз выпили мутное, полу-доброжелательное пиво. Пьяницы, выходя на улицу, разбрасывали по полу бутылки.

— Ну что пивко? — улыбнулся Витя.

— В утробушке от него тепло, как в могилке Ангела, — проскулил Вадимушка, — так недавно сказала в таком случае Аннуля...

— А где сейчас Падов? Мы не видели его дней пять, — спросил Сашенька.

— Плох, очень плох, — сморщился Витя. — Я видел его вчера в одной берлоге. Смотрел в зеркало на свое лицо, точнее на самого себя, внутреннего — и хохотал... Дико хохотал, с отчуждением от себя... Даже до глаз как-то деревянно дотрагивался...

Обозрели еще кой-какие состояния. Вдруг Сашенька произнес имя Федора. Все хорошо знали его по рассказам Падова.

— Где-то он сейчас путешествует... в какой запредельности, — вздохнул Витя.

— В какие теперь кошки-мышки с Господом играет... Чудодей, — добавил Вадимушка словами Анны, в которую был уже почти влюблен.

Они слышали также о недавно закончившемся процессе над Федором. Он происходил в убогом, грязном районном нарсуде. Оказалось, что примерно с середины лета милиция напала на след Соннова, но все выясняли и колебались. Когда все уточнилось, решили взять. Процесс был почему-то тихий, примирительный, какой-то незамечающий, но строгий и детальный. Федора обвинили в «убийствах из хулиганских побуждений» и приговорили его к расстрелу. Вел себя Соннов на суде отсутствующе. И смерть

свою встретил совершенно спокойно, но однако же с нескрываемым интересом. И, кажется, чуть улыбался, когда шел на казнь. Из тюрьмы только успел передать большой поклон Падовским вместе с запиской, где писал, как наблюдал их и хотел убить. Аннуля в ответ, со своей стороны, умудрилась переслать ему передачу: детских конфет «Мишка», печенья и сдоб: Федор иногда был сластена. Передала и пожелание скорее пройти этот «формалистический фарс, называемый смертью».

Друзья встали из-за пивных столиков. Выпив последний глоток за Федора, вышли на улицу в дождь и грязь. Косой ливень смывал последние остатки городского небытия. На углу Витя расстался с юными.

А Вадимушка с Сашенькой решили мимоходом заехать к Извицкому, благо давно его не видели. О нем уже ходили легенды. Их встретил тот же мрачный и серый петербургский дом. И лестница, будто, ведущая в небесный секс. Женичка спрятанной ухмылкой приветствовал их. Но был сдержан, словно ему было не до них. Вадимушка и Сашенька сразу все поняли. Каждая клеточка Извицкого дрожала в любви к самому себе. И он неотступно носил себя, как самовлюбленную, черную богиню. Вещи кругом: драное кресло, старинные комод и стулья — точно кружились вокруг него, погружая Извицкого в глубокий уют. Вид у него был мрачный — по крайней мере по отношению к внешнему миру — но подземно удовлетворенный, с бесконечным желанием замкнуть себя в вечности. Некая темная услажденность выделялась на его лице, прячущемся в самое себя. Услада — тайная и бесконечная — горела в каждом кончике, но особенно в глазах, которые темнели и светились от дикого и скрытого метафизического наслаждения. Вадимушке же виделось, что каждую минуту свою, каждое прикосновение к себе Извицкий обращал в секс. Точно его тело стало его вечной невестой и любовницей. Очевидно Женя был в полном уходе. Испуганно взглянув несколько раз в огромное зеркало, Вадимушка с Сашенькой скатились вниз по лестнице в город...

Больше они не решились куда-либо ехать...

Уже много воды утекло с тех пор, как Федор хотел уничтожить «метафизических» в Падовском гнезде.

Опустел дом в Лебедином. Кто-то даже съел поганую кошку. Лишь старик Михей со своим пустым местом и девочка Мила — из обитателей Сонновского гнезда — пришли видимо, в человеческом смысле, к счастливому концу: они поженились. Хотя разумеется без официального признания. Это был брак, в котором

не было ничего. Посторонние часто видели, как дедушка Михей, обосновавшийся в небольшом подмосковном городишке, подальше от Лебединого, выводит гулять за ручку свою женушку-внучку девочку Милу. И даже по-своему целует ее. Улыбаясь потом — белым, исчезающим лицом — в какие-нибудь кусты.

А деда Колю супруги прогнали в шею. Совсем обезумев, дед рыщет по всей Рассеи, иногда — в черном, похмельном бреду — вспоминая Лебединое, Клавушу, Падова и поганую кошку. «Не ко двору, не ко двору я пришелся ни там, ни Михею с Милочкой, — иногда выговаривает он, играя сам с собой в домино. — Мало во мне... етого... безумия». Только порой промелькнут на дне слезящихся глаз, радостно обращенных на бутыль с водкой, образы погибших детей: помоечной Лидоньки и себяеда Петеньки... Далеко от Лебединого в новом одиноком гнезде обосновалась и Клавенька. «Раздувается она, раздувается... на весь мир. Скоро все вытеснит», — испуганно, расширив глаз, рассказывал о ней Игорек, случайно оказавшийся около этого гнезда. Сам «белокурый садистик» уже давно бросил все «измывательства»; единственно, что теперь его интересует — это борьба со счастьем; с ним — с человеческим, общелюбящим сча- стьем — борется он упорно, угрюмо и исступленно, на долгое время исчезая по каким-то магическим уголкам, закоулкам.

Свое окончательное определение нашел и Алеша Христофоров; но сначала он долго и надрывно, используя всю имеющуюся информацию, искал куро-трупа, т.е. отца своего. Однако ж куро-трупа простыл и дух. Христофоров порвал все связи с «метафизическими», взывал к Богу, молился — все напрасно. Теперь он живет один, в маленьком, деревянном домике, имея в прислужницах длинную, худощавую женщину. Он целиком ушел в древнее христианство и больше знать ничего не хочет; почти не выходит на улицу; скорее даже не в древнее христианство, а в чистую обрядовость, особенно в бесконечные и затаенные детали ее, уже давно позабытые. Он пугает священников своим знанием христианства; поэтому они избегают общения с ним. Алеша считает их «декадентами» и попрежнему полу-блаженствует в своем служении...

Как буря пронеслась религия Я по душам «метафизических»: Анны, Ремина и Падова. Долго не могли забыть они этих ночей в Падовском гнезде, этих взрывов веры в себя, этих холодеющих полетов в бесконечность — долго это состояние оставалось вместе с ними.

Но вскоре черная молния стала куда-то уходить, и все остались наедине со своими прежними комплексами и сомнениями.

Особенно резко стал уходить в прежнее состояние Падов; «Не по мне все это положительное, — бормотал он, — хотя может быть и лучше по сравнению с другим... Что ж, по этой вере я и руки на себя наложить не могу; или, ежели я захочу — а я может быть этого втайне хочу — уничтожить себя реально, как духа, допустим в форме оккультного самоубийства — и этого нельзя; ведь «я» — абсолют, высшая ценность; а может я все хочу уничтожить — и «я» и абсолют и высшую ценность и все переходы в засознание и вообще все... Хе-хе...»

Однако ж Ремин на этот раз не шел по этому пути; похоже было на то, что Геннадий все больше и больше «входил» в религию «Я»; даже встречаться с Падовым он стал значительно реже, пропадая где-то около глубевцев или в одиночестве. И грозился написать цикл стихов о религии Я.

Аннуля металась между верой в «Я» и своим незабвенным. Все это смешалось у нее с давним сексуальным мракобесием и каким-то сюрреальным гностицизмом. Достаточно сказать, что потустороннюю жизнь она представляла все чудовищней и чудовищней... И по-женски истерически устраивала невиданные оргии, с чтением Достоевского, во время сеансов тайной магии. Особенно она неиствовала и хохотала при вызове некоторых «душ» и оболочек...

Однажды, поздней осенью, когда ветер рвал и метал листья, образуя в пространстве провалы, около одинокого, пригородного шоссе, в канаве, лежал трезвый молодой мужчина в истерзанном костюме и тихонько выл. То был Анатолий Падов.

Перед этим он долго хохотал в своей комнате, глядя на себя в зеркало. Сам себе казался чудом. И видел: что-то должно случиться. И вдруг почувствовал свою мысль... голой, как будто душа обнажилась и грозно выступила сквозь видимость тела. Не помня как, очутился в канаве. Это ощущение голой мысли не проходило, точно он мог до нее дотронуться, и обычный покров, делающий мышление привычным, был сдернут. Он мог видеть обнаженное поле своего «я». Его особенно поразило, что чистая мысль бьется о самую себя, как бы ощущая и оценивая свое существование, и еще, что непрерывно задает себе вопросы: кто я? откуда?

Самое ужасное было то, что эти вонзающиеся в мысль вопросы, отскакивали от нее, безответные, именно потому, что задавался вопрос и эти порывы не выходили за пределы реальности. Эта

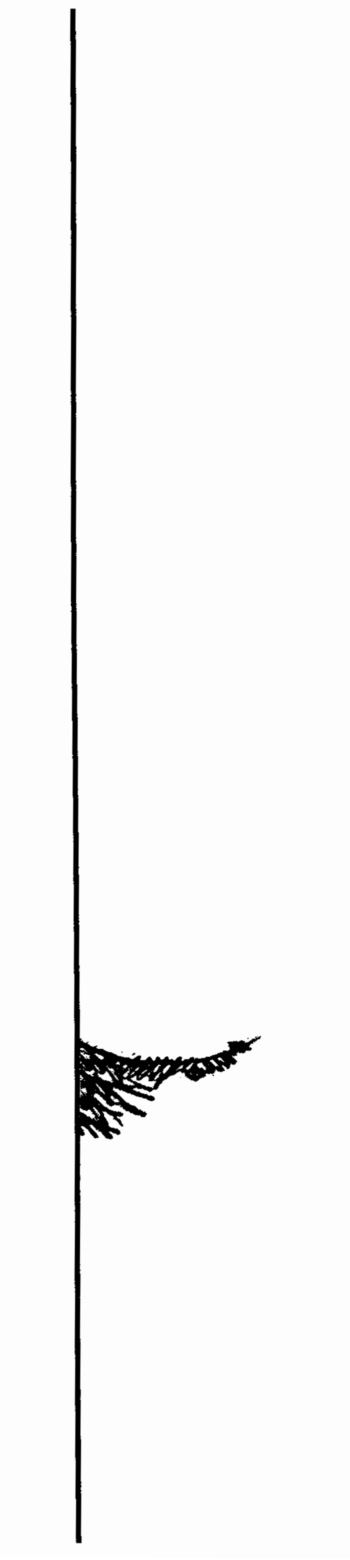
странность ощущения самосознания, эта раскрытость самого сокровенного, эта безответность «главных вопросов» — извергали из Падова истерический крик. Он весь, валяющийся в канаве, превратился в этот жуткий и недоумевающий от самого себя крик.

Мысль билась о мысль, «я» сталкивалась с «я». Обнаженное самосознание выло, словно не зная, откуда оно, и Падова лихорадило от чувства странности его голого, вопросительного существования; обнаженная мысль словно ломалась; она была бешено реальным и в то же время чудовищно хрупким.

Внезапно Толя почувствовал, похолодев: то, что составляет «я» вот-вот рухнет; «все скоро рухнет и что будет потом», — прошептал он.

Падов встал на ноги и, шатаясь, вышел из канавы... Так и пошел вперед, с выпученными глазами, по одинокому шоссе навстречу скрытому миру, о котором нельзя даже задавать вопросов...

СОДЕРЖАНИЕ:





Юрий Мамлеев родился в 1931 году. В СССР не печатался, но его произведения широко распространялись в Самиздате. В 1975 г. он эмигрировал. До 1983 г. жил в США. Ныне живет в Париже. Рассказы Мамлеева переведены на ряд европейских языков. В 1980 г. в США вышла по-английски книга его прозы «Небо над адом» (роман и рассказы). По-русски небольшой сборник рассказов Ю. Мамлеева «Изнанка Гогена» выпустило в 1981 г. издательство «Третья волна». В этом же издательстве в прошлом году вышла книга Мамлеева «Живая смерть», в которую вошли лучшие (около семидесяти) рассказы писателя. Его произведения не раз публиковались в журналах «Континент», «Новый журнал», «Стрелец» и «Третья волна».

Роман «Шатуны» в 1987 г. вышел в Париже по-французски и был высоко оценен ведущими парижскими литературными критиками.